

Патрик Санчес



В КАПКАНЕ
РОЛЕЙ

В капкане ролей

Патрик Санчес

Настоящее произведение является художественным. Все персонажи, события, организации и описанные обстоятельства либо полностью вымышлены, либо представлены в авторской художественной интерпретации. Любые совпадения с реальными людьми — живыми или умершими, а также с существующими или существовавшими организациями, компаниями и событиями являются случайными и не имеют намеренного характера.

Оглавление

Глава 1. Вход в лабиринт: безумный театр Карпмана

Глава 2. За кулисами мессианского гнева

Глава 3. Невидимая связь: эволюционный раскол и крушение догм

Глава 4. Соматическая интеграция Драматического треугольника и преодоление деструктивных сценариев

Глава 5. Выход из исторического сценария

Источники

Глава 1. Вход в лабиринт: безумный театр Карпмана

Построение человеческих взаимоотношений представляет собой сложную область скрытых мотивов, невысказанных ожиданий и бессознательных сценариев, в которых индивидуальное сознание часто оказывается заложником имплицитных психологических игр. Среди многочисленных концептуальных моделей, пытающихся систематизировать и объяснить деструктивную динамику межличностного взаимодействия, особое место занимает Драматический треугольник, предложенный американским психотерапевтом Стивеном Карпманом в 1968 году. Эта модель, родившаяся в недрах транзакционного анализа Эрика Берна, не просто описывает конфликтные ситуации, но вскрывает глубинные модели бытия, по которым человечество живет на протяжении веков. Карпман сумел разглядеть в кажущемся хаосе бытовых ссор, семейных трагедий и социальных бед строгую трехчастную структуру, где каждый участник, движимый неосознаваемыми дефицитами, принимает на себя одну из трех классических ролей, образуя закрытый, самоподдерживающийся круг психологической несвободы.

Исторический контекст возникновения модели Карпмана тесно связан с революционными изменениями в психотерапии середины двадцатого века, когда классический психоанализ с его жесткой фиксацией на интрапсихических конфликтах и детских травмах стал уступать место интеракционным и системным подходам. Эрик Берн, создатель транзакционного анализа, предложил рассматривать личность через призму эго-состояний Родителя, Взрослого и Ребенка, а также через концепцию жизненных сценариев, которые закладываются в раннем детстве и разыгрываются в течение всей последующей жизни.

Стивен Карпман, будучи талантливым учеником Берна, развил эти идеи, обратив внимание на то, что в основе большинства деструктивных сценариев лежат простые, но чрезвычайно устойчивые шаблоны поведения, напоминающие классическую драматургию. В своей эпохальной статье,

посвященной анализу сказок и сценарной драмы, Карпман показал, что народный фольклор, мифы и классическая литература веками эксплуатируют одни и те же ролевые переходы, которые люди затем с поразительной точностью воспроизводят в своей повседневной реальности. Эрик Берн настолько высоко оценил открытие своего ученика, что предложил официально именовать эту схему Треугольником Карпмана, признавая ее фундаментальное значение для понимания человеческой созависимости.

Центральной фигурой, вокруг которой кристаллизуется вся динамика треугольника, является Жертва. В рамках модели Карпмана Жертва представляет собой не реального пострадавшего от непреодолимых обстоятельств или катастроф, а человека, принявшего специфическую психологическую установку основополагающей беспомощности. Экзистенциальное кредо Жертвы формулируется как признание собственного бессилия перед лицом враждебного или равнодушного мира, при этом ключевым элементом данной позиции является полный отказ от личной ответственности за происходящее. Жертва искренне убеждена, что все ее страдания вызваны внешними факторами, будь то злой рок, деспотичный супруг, несправедливое руководство или несовершенство государственного устройства. Парадокс этой роли заключается в том, что Жертва активно ищет сочувствия и помощи, но бессознательно саботирует любые конструктивные предложения по изменению ситуации. Для нее жизненно важно оставаться несчастной, поскольку именно страдание дает ей право на получение психологических дивидендов в виде внимания, заботы и, что самое главное, освобождения от необходимости принимать решения и отвечать за их последствия. Жертва манипулирует окружающими через демонстрацию своей уязвимости, провоцируя их на определенные действия и вовлекая в свою бесконечную драму.

На противоположном полюсе этой деструктивной триады находится Преследователь, часто именуемый Агрессором, Тираном или Контролером. Эта роль подпитывается глубинным, часто подавленным чувством собственной уязвимости и страхом оказаться на месте Жертвы. Преследователь компенсирует свои внутренние дефициты через доминирование, контроль, критику и проявление агрессии по отношению к тем, кого он считает более

слабыми или виновными в существующих проблемах. Его жизненная позиция строится на иллюзии собственной правоты, морального превосходства и необходимости наведения порядка или наказания виновных. Преследователь проецирует свою собственную теневую, слабую часть на Жертву, пытаясь уничтожить или подчинить ее, чтобы не сталкиваться со своим собственным внутренним бессилием. В действиях Агрессора всегда присутствует элемент «праведного гнева», который легитимизирует его жестокость и позволяет ему избегать чувства вины. Он убежден, что его жестокость оправдана обстоятельствами, глупостью или провинностями Жертвы, что делает его глухим к любым рациональным аргументам и состраданию.

Третьим элементом, замыкающим эту структуру, выступает Спасатель. На первый взгляд, Спасатель является наиболее благородной и альтруистичной фигурой в треугольнике, однако детальный психологический анализ обнаруживает за его действиями глубокий эгоцентризм и скрытую корысть. Спасатель вмешивается в ситуацию не потому, что его об этом действительно попросили, и не с целью помочь Жертве стать самостоятельной, а ради подтверждения собственной значимости, нужности и превосходства. Его помощь носит снисходительный характер, она изначально строится на невербальном допущении, что Жертва сама по себе глупа, слаба и неспособна справиться с трудностями. Спасая других, такой человек бессознательно поддерживает Жертву в состоянии зависимости, поскольку если Жертва решит свои проблемы и обретет автономию, Спасатель потеряет смысл своего существования и будет вынужден столкнуться с собственной пустотой и нерешенными личностными проблемами. Спасательство — это хитроумная форма манипуляции, позволяющая избегать ответственности за собственную жизнь посредством гиперфиксации на проблемах окружающих.

Ключевой динамической характеристикой Треугольника Карпмана является неизбежность ролевых переходов. Модель не статична; напротив, ее жизнеспособность поддерживается постоянной сменой ролей между участниками, что Карпман назвал переключением. Ни одна игра в треугольнике не может продолжаться долго без того, чтобы Спасатель не превратился в Преследователя, Жертва — в Спасателя или Агрессора, а Преследователь — в Жертву. Например, Спасатель, истощив свои ресурсы в тщетных попытках

помочь неблагодарной Жертве, в какой-то момент испытывает разочарование и злость, превращаясь в Преследователя, который начинает обвинять бывшую Жертву в лени и нежелании меняться. В ответ на это Жертва, устав от постоянных упреков и контроля со стороны Спасателя, мобилизует свои скрытые агрессивные ресурсы, и сама нападает на него, меняясь с ним местами. Бывший Спасатель теперь чувствует себя преданным, несправедливо обиженным и переходит в позицию Жертвы, начиная искать нового Спасателя на стороне. Этот бесконечный круговорот ролей создает мощную эмоциональную зависимость к образу, которую участники ошибочно принимают за глубокие и подлинные чувства, в то время как на самом деле они находятся в тисках жесткого невротического сценария.

В качестве ответа на критику и попытки модернизации модели в двадцать первом веке появились различные модификации Треугольника Карпмана. Сам автор в последующих работах предложил так называемый Треугольник сострадания, направленный на терапевтическую трансформацию деструктивных ролей в конструктивные жизненно важные позиции. В этой обновленной модели Жертва трансформируется в Уязвимого человека, способного признать свои слабости, но при этом сохраняющего способность просить о помощи и действовать самостоятельно. Преследователь преобразуется в Настойчивого лидера, который умеет устанавливать здоровые границы, открыто заявлять о своих потребностях и отстаивать свои права, не прибегая к унижению и насилию. Спасатель же становится Находчивым проводником или Наставником, который оказывает поддержку только по запросу, уважает автономию другого человека и помогает ему раскрыть собственные ресурсы для решения проблем, не забирая у него ответственность. Другие исследователи, например, Эйси Чой, предложили модель Треугольника победителя, которая также ориентирована на перевод манипулятивных транзакций в русло осознанного и терапевтически продуктивного сотрудничества.

Рассмотрение жизненного пути человека через призму Треугольника Карпмана представляет огромную ценность как для индивидуальной терапевтической практики, так и для философского осмысления человеческой судьбы в целом. Эта модель служит уникальным герменевтическим ключом, позволяющим дешифровать скрытые мотивы поведения, которые в противном

случае кажутся иррациональными, хаотичными или фатальными. Когда человек начинает видеть свою жизнь не как череду случайных неудач, предательств или несправедливых ударов судьбы, а как развертывание определенного ролевого сценария, он совершает важнейший шаг от мифологического сознания к сознанию рефлексивному. Понимание того, что повторяющиеся жизненные тупики — это результат бессознательного стремления отыграть ту или иную роль в треугольнике, освобождает человека от чувства бессилия и возвращает ему индивидуальность, то есть способность быть автором собственной жизни.

Анализ личной биографии через треугольник Карпмана позволяет вскрыть структуру созависимости, которая часто пронизывает все сферы человеческого существования, включая профессиональную деятельность, дружеские связи и духовные поиски. Созависимость в данном контексте понимается как отказ от собственного истинного «Я» в угоду поддержания стабильности деструктивной системы отношений. Человек, застрявший в роли Спасателя, может выбирать помогающие профессии, становиться врачом, психологом, священником или общественным деятелем, однако его деятельность будет отравлена скрытой потребностью в доминировании и страхом перед реальной близостью. Он будет окружать себя людьми проблемными, зависимыми, маргинализированными, чтобы на их фоне чувствовать себя сильным и праведным, при этом его собственная личная жизнь будет находиться в глубоком упадке. Точно так же латентный Преследователь может маскировать свою жажду власти и контроля под маской борьбы за справедливость, защиту традиционных ценностей или искоренение зла, превращая свою жизнь в бесконечный крестовый поход, который неизбежно разрушает его самого и его окружение. Прослеживание этих поведенческих моделей помогает обнаружить точки фиксации и осознать, какие именно детские дефициты любви, признания или безопасности человек пытается компенсировать за счет вовлечения окружающих в свои драматические игры.

Удивительным и глубоким примером того, как Треугольник Карпмана может стать определяющей матрицей всей человеческой судьбы, подчинив себе незаурядный интеллект, колоссальную энергию и превратив жизненный путь в трагический круговорот деструкции, является биография известного

российского общественного деятеля, богослова и антисектантского активиста Александра Леонидовича Дворкина. Его образ является сложным психологическим феноменом, в котором личные травмы, экзистенциальные кризисы и социокультурные изломы эпохи сплелись в тугой узел, завязавшийся по всем правилам Драматического треугольника. Анализируя его жизненный путь, невозможно не поразиться тому, насколько точно вехи его биографии ложатся на схему Карпмана, демонстрируя классические переходы от одной роли к другой, где каждая последующая стадия логически вытекала из неразрешенных противоречий предыдущей.

Начальный этап жизни Александра Дворкина, пришедшийся на советский период, можно охарактеризовать как глубоко окрашенное пребывание в роли Жертвы. Родившись в интеллигентной московской семье инженера и филолога, Саша рос в атмосфере скрытого, но удушающего когнитивного диссонанса между домашней академической культурой и жесткой советской реальностью. Семейный очаг, который должен был стать тихой гаванью, превратился в источник перманентного стресса, провоцируя у маленького человека вспышки неконтролируемой ненависти, сменявшиеся периодами тяжелейшей апатии. Этот этап жизни будет рассмотрен более детально в дальнейшем, а сейчас мы немедленно перейдём к изучению периода его молодости.

Для молодого Александра Дворкина, искавшего хоть какую-то опору для своего зыбкого, мятущегося «Я», этот пестрый, демонстративно неряшливый и подчеркнуто аполитичный мир стал единственным убежищем. Очевидцы той эпохи запомнили его как нелепого, угловатого юношу со странной, неухоженной прической, в вызывающей, часто грязноватой одежде с чужого плеча, который метался по московским «тусовкам» в отчаянной надежде обрести статус своего среди чужих. Но за этой внешней атрибутикой бунта скрывалась не столько идейная позиция, сколько глубокий внутренний надлом, крик одиночества человека, не способного вписаться ни в одну из существующих социальных координат. Улица не принесла долгожданного освобождения; напротив, она лишь обострила его внутреннюю уязвимость, обнажив глубокий нарциссический дефицит и отсутствие внутренних ресурсов для самостоятельного выживания.

Спасение от невыносимой реальности Александр искал в тяжелом, мутном тумане аптечной химии. Первым шагом на этом пути стало увлечение дешевыми таблетками от кашля, содержащими алкалоиды опиума, в частности кодеин, которые употреблялись в огромных количествах для достижения заторможенного, полусонного состояния. Вскоре этого показалось мало, и в его повседневный рацион вошел седуксен — мощный транквилизатор бензодиазепинового ряда, который помогал глушить постоянное, грызущее чувство тревоги и собственной неполноценности, превращая реальность в ватную, лишенную эмоций пустыню. Наиболее разрушительным для неокрепшей психики стало злоупотребление циклодолом — холинолитическим препаратом, предназначенным для лечения паркинсонизма, но в запредельных дозировках вызывавшим яркие, пугающие, делириозные галлюцинации. Прием циклодола сопровождался тяжелым расстройством мышления, когда границы между собственным бредом и внешним миром полностью стирались, а сознание заполнялось чудовищными образами. Когда же аптечные запасы иссякали, в ход шла бытовая химия: в грязных подъездах и на заброшенных стройках вдыхались пары токсичных растворителей и пятновыводителей, приводившие к мгновенному, разрушительному для клеток мозга отключению от реальности. Этот химический марафон был не просто поиском удовольствия, а формой медленного самоубийства, попыткой стереть собственную личность, ставшую для него слишком тяжелой ношей.

Закономерным итогом прогрессирующей наркотизации, социальной дезадаптации и полного академического саботажа стало позорное отчисление Александра Дворкина из Московского педагогического государственного университета (в те годы — МГПИ им. В.И. Ленина) в 1975 году. Поступив туда в надежде получить гуманитарное образование и найти хоть какую-то легальное прикрытие для своего праздного образа жизни, он оказался абсолютно неспособен соответствовать элементарным требованиям вуза. Пропуски лекций, проваленные сессии, появление в стенах института в неадекватном состоянии и откровенно асоциальное поведение сделали его пребывание в университете невозможным. Деканат, долгое время закрывавший глаза на странности студента, был вынужден принять жесткие меры, когда стало ясно, что молодой человек находится за гранью социальной нормы и представляет опасность для идеологической чистоты советского студенчества. В этот момент он впервые

примерил на себя роль абсолютной Жертвы — бессильной, раздавленной государственным левиафаном. Но самым страшным кошмаром того времени для любого диссидентствующего юноши была не тюрьма, а советская психиатрия с ее практикой вялотекущей шизофрении и принудительного лечения. Страх оказаться в палате психоневрологического диспансера, получить «идеологический диагноз» и подвергнуться химической лоботомии наложил неизгладимый отпечаток на его психику.

Позднее, в годы публичных скандалов вокруг его имени, в открытый доступ попали архивные медицинские документы, свидетельствующие о том, что будущий главный сектовед страны находился на учете с диагнозами циклотимии, патологического развития личности и психофизического инфантилизма. Психологическая структура личности Дворкина демонстрирует классические алгоритмы компенсации этих расстройств. Человек, страдающий от эмоциональных качелей циклотимии и ощущающий внутреннюю незрелость, панически боится быть поглощенным внешней средой. Его психофизический инфантилизм требует жестких, однозначных ориентиров и защиты, а искаженное развитие личности толкает к поиску доминирующего положения, чтобы никогда больше не оказаться в слабой, уязвимой позиции Жертвы.

Особого внимания в его истории болезни заслуживает формулировка советских врачей, отметивших у пациента сниженность вторичных форм анализа и синтеза. Этот клинический маркер означает фундаментальную неспособность к системному, многоуровневому осмыслению реальности, неумение выстраивать сложные причинно-следственные связи и склонность к упрощению картины мира до примитивного дуализма. Человек с подобным дефицитом когнитивных функций физически не способен воспринимать нюансы и полутона; для него реальность расщепляется на абсолютно доброе и абсолютно злое. В зрелом возрасте этот изъян мышления стал идеальной психологической базой для создания черно-белой теории тоталитарного сектоведения. Этот когнитивный дефицит компенсировался у Дворкина гипертрофированной демонстративностью и сверхценным отношением к собственной персоне, что является классическим признаком инфантильного нарциссизма. Его внутренний мир в тот период был населен навязчивыми

страхами: он панически боялся темноты, воспринимал неодушевленные предметы за живых людей и страдал от непреодолимого ощущения преследования. Эти фобии и некомпенсированный психоз наложили неизгладимый отпечаток на всю его последующую деятельность.

Сублимация этих страхов небытия пошла по классическому пути. Вместо того чтобы проработать травму бессилия, Дворкин принял решение сам стать источником силы. Страх перед психиатрами и их диагнозами трансформировался в форму проективной идентификации: спустя десятилетия именно он начнет ставить «психиатрические диагнозы» целым религиозным группам, обвиняя их в разрушении психики адептов. Внутреннее решение заставило его выстроить мощный панцирь грандиозного «Я», требующий мессианской роли. Чтобы навсегда убежать от призрака сломленного советского неформала, Дворкину потребовалось создать образ вселенского Спасителя, защищающего человечество от ментального порабощения.

Эмиграция в Соединенные Штаты Америки в 1977 году не принесла ему мгновенного исцеления; она лишь перенесла внутренний конфликт на иную географическую и культурную почву. Это бегство было оформлено по стандартному для того времени каналу — через получение фиктивного вызова от несуществующих родственников в Израиле, так называемой «еврейской визе». Для Дворкина этот шаг не был результатом осознанного политического выбора, борьбы с советским режимом или диссидентского мужества, как это пытались представить позже его официальные биографы. Это была предельно радикальная, паническая попытка эскапизма — бегство от уголовного преследования за употребление и хранение наркотиков, от позорного клейма психически больного человека и от собственной внутренней пустоты, которую он не мог заполнить на родине. Улетая в неизвестность, он бежал не «куда-то», а «откуда-то», надеясь, что за океаном, в мифическом свободном мире, он сможет начать все с чистого листа.

Период адаптации, работа курьером и официантом вновь актуализировали страх маргинализации. Однако именно здесь происходит ключевой ментальный разворот: в 1980 году Александр принимает крещение в православном храме Христа Спасителя в Нью-Йорке. Религия становится для него не просто духовным прибежищем, но структурной броней, защищающей его

распадающееся это от хаоса плюралистического американского общества. Обучение в Хантерском колледже, а затем в Свято-Владимирской духовной семинарии под руководством таких гигантов, как протопресвитеры Александр Шмеман и Иоанн Мейендорф, должно было направить его энергию в русло академического богословия, но подлинный фокус его внутренних устремлений раскрылся во время работы над докторской диссертацией в Фордхемском университете, посвященной религиозному типу царя Ивана Грозного. Выбор этой исторической фигуры крайне симптоматичен для понимания психоаналитического портрета самого Дворкина. Почему молодой эмигрант, бежавший от советского режима, оказался столь заморожен фигурой одного из самых кровавых тиранов в русской истории?

Иван Грозный строил свою внутреннюю политику на убеждении, что он является единственным Спасителем православного царства от измены, ереси и скверны. Ради этого «спасения» он создал опричнину — фактически первый в истории России карательный орган, репрессивный маховик, уничтожавший реальных и мнимых врагов под лозунгами очищения веры. Царь искренне верил, что, пытая и казня своих подданных, он спасает их души для царства небесного, выступая в роли сурового, но любящего отца-пастыря. Для Дворкина фигура Ивана Грозного стала матрицей, в которой роли Преследователя и Спасителя слились воедино. Исследуя тирана, он детально изучил механику того, как страх перед внешними врагами и внутренняя уязвимость правителя могут быть легитимизированы через сакральный статус борца за чистоту веры. Это исследование было не просто историческим анализом; это была глубокая психологическая проекция, теоретическая узаконивание собственного агрессивного импульса. Дворкин усвоил главный урок Грозного: тот, кто объявляет себя Спасителем священных рубежей, получает право на любые формы насилия, а его личная паранойя может быть упакована в форму государственной или церковной необходимости. Именно здесь, в недрах его религиозного становления, подспудно закладывались предпосылки для грандиозного ролевого перехода. Спасаемый, накопив определенный теологический и интеллектуальный капитал, неизбежно начинает испытывать потребность примерить на себя мантию Спасателя. Для Дворкина этот переход совпал с эпохальными историческими событиями — распадом Советского Союза

и началом тектонических сдвигов в духовной жизни постсоветского пространства.

Возвращение Александра Дворкина в Россию в начале девяностых годов ознаменовало начало его новой, грандиозной миссии, в которой он позиционировал себя как главного духовного Спасателя нации. Общество, пережившее крах идеологии, экономический коллапс и утрату ценностных ориентиров, находилось в состоянии глубочайшей фрустрации и коллективной травмы, то есть выступало в классической роли Жертвы. На эту растерянную и незащищенную территорию хлынули многочисленные новые религиозные движения, зарубежные проповедники и миссионеры, которых Дворкин немедленно идентифицировал как опасных Преследователей, коварных хищников, покушающихся на невинную душу русского народа. Дворкин обнаружил социальный ландшафт, идеально подходящий для развертывания его внутренней драмы. Для запуска масштабного инквизиционного маховика требовалась отточенная методология и влиятельные покровители. Первую он нашел в лице датского пастора Йоханнеса Аагаарда, основателя «Диалог-центра», чья концепция борьбы с новыми религиозными движениями носила выраженный конфронтационный характер. Аагаард и его европейские единомышленники разработали систему «контркультурного» анализа, которая оперировала не столько научными категориями, сколько идеологическими ярлыками. Дворкин импортировал эту готовую матрицу в Россию, существенно радикализировав ее и адаптировав к специфике постсоветского пространства.

Вторым важнейшим элементом стали отечественные покровители. Поддержка со стороны протоиерея Глеба Каледы, выдающегося ученого и пастыря, работавшего в новообразованном Отделе религиозного образования и катехизации, дала Дворкину необходимую церковную легитимность. Каледа, руководствуясь благими намерениями защиты неокрепших умов от деструктивного влияния, предоставил Дворкину трибуну. Впоследствии этот паттерн — использование авторитетных фигур в качестве ступеней для восхождения к власти с последующим их устранением или вытеснением из памяти — станет визитной карточкой Дворкина. Постепенно укрепляя свои позиции, он создал Центр религиоведческих исследований имени священномученика Ириния Лионского, который в 2006 году вошел в

Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Главным орудием этого институционального аппарата стала его книга «Сектоведение», фактически заложившая основы новой псевдонаучной дисциплины. Механика «сектологии» целиком построена на логике треугольника Карпмана. Дворкин ввел в широкий обиход термин «тоталитарная секта», не имеющий ни юридического, ни академического статуса, но обладающий колоссальным манипулятивным потенциалом. С помощью этой дефиниции любая религиозная группа, не принадлежащая к традиционным конфессиям, автоматически назначалась Преследователем. Адепты этих групп безальтернативно объявлялись безвольными Жертвами, подвергшимися ментальному насилию и кодированию сознания. Себя же Дворкин и его структура позиционировали как единственных Спасителей, способных вырвать несчастных из лап «монстров» и вернуть их к нормальной жизни. Книга стала манифестом, легитимизирующим преследование инакомыслящих во имя их собственного блага.

В этой диспозиции Дворкин находит свое истинное призвание. В его риторике и трудах этого периода отчетливо прослеживается классический мессианский пафос Спасателя. Он видит себя рыцарем на белом коне, стоящим на страже духовной безопасности отечества, защищающим несчастных, обманутых людей и их убитых горем родственников от зловещих культов. Спасательство Дворкина носит глобальный характер: он пишет монументальные труды по сектоведению, выступает с лекциями по всей стране, консультирует правоохранительные органы и государственные структуры. Однако, в полном соответствии с законами психологии, эта деятельность очень быстро обнаруживает свою теневую сторону. Спасатель, не желающий замечать своих собственных внутренних конфликтов и стремящийся к безграничному контролю над спасаемыми, неизбежно трансформируется в Преследователя.

Трансформация Дворкина из Спасателя в Преследователя стала логическим следствием его методологии и психологической структуры его активизма. Для того чтобы его роль Спасателя оставалась легитимной и общественно значимой, масштаб угрозы должен постоянно расти, а образ врага должен становиться все более демоническим и вездесущим. В борьбе с сектами Дворкин начинает использовать методы, которые по своей агрессивности,

бескомпромиссности и авторитаризму едва ли уступали тем практикам, в которых он обвинял своих оппонентов. Он создает концепцию тоталитарных сект, под которую при желании можно подвести практически любое религиозное объединение, не принадлежащее к традиционным конфессиям. Его публичные выступления приобретают характер яростных филиппик, наполненных сарказмом, жесткими ярлыками и призывами к запрету, ограничению и уголовному преследованию тех, кого он объявил сектантами.

В этой фазе Дворкин в полной мере реализует вытесненную ранее агрессию. Будучи в молодости Жертвой государственного насилия и психиатрического давления, теперь он сам, обрета общественное признание и властные ресурсы, начинает использовать элементы системного давления против религиозных меньшинств. Его «праведный» гнев становится инструментом подавления инакомыслия. Он активно лоббирует репрессивные поправки к законодательству о свободе совести, участвует в судебных процессах в качестве эксперта, чьи выводы зачастую ломают судьбы людей и приводят к ликвидации религиозных организаций. В поведении Дворкина-Преследователя отчетливо видна проекция его собственных нерешенных проблем с авторитетом, границами и властью. И стоит еще заметить, что на этом примере очень видно, что Драматический треугольник не допускает окончательной фиксации в роли Преследователя, жизненный путь Дворкина демонстрирует регулярные возвращения к роли Жертв. Всякий раз, когда его жесткие методы, сомнительные с научной точки зрения публикации или резкие заявления наталкиваются на организованное сопротивление со стороны правозащитников, религиоведов, судебных органов или самих объектов его нападок, Дворкин мгновенно регрессирует в позицию преследуемой Жертвы. Громкие судебные процессы, в которых его обвиняли в клевете, публичная критика его ненаучного метода со стороны академического сообщества, обвинения в предвзятости и разжигании религиозной розни — все эти события трактуются им и его сторонниками не как повод для научной дискуссии или признания ошибок, а как спланированные заговоры могущественных международных сект, стремящихся уничтожить главного борца за истину. В этой фазе Дворкин вновь обретает нимб мученика, страдающего за веру и отечество, что позволяет ему аккумулировать новые эмоциональные ресурсы,

мобилизовать поддержку сочувствующих и с новыми силами вернуться к роли Преследователя, оправдывая свою жестокость необходимостью самообороны.

При переносе этой матрицы на макросоциальный уровень и в пространство историко-религиозных процессов она обнаруживает пугающий потенциал глобального репрессивного маховика.

В больших социальных системах треугольник Карпмана перестает быть просто психологической игрой близких людей; он превращается в метафизический и институциональный каркас нового идеологического контроля, где личные невроты отдельных деятелей масштабируются до государственных трагедий. Важно разобрать природу роли Спасителя, которая в рамках данной триады проявляется как наиболее скрытая и при этом доминирующая, с латентными агрессивными чертами. Спаситель — это не альтруист, а субъект, испытывающий глубокий дефицит позитивного самоопределения и глубинную пустоту. Его идентичность полностью паразитирует на двух других ролях. Спаситель не способен существовать отдельно; ему жизненно необходима Жертва, чья слабость, глупость или беспомощность легитимизируют его присутствие. Но еще более критично для Спасителя наличие Преследователя — абсолютного, демонического Врага, в борьбе с которым Спаситель обретает свою грандиозность, оправдывает собственные деструктивные импульсы и получает индульгенцию на насилие.

В этой оптике Спаситель не заинтересован в окончательном исцелении Жертвы или уничтожении Преследователя. Напротив, его подлинной, хотя и неосознаваемой целью является бесконечное воспроизводство этого процесса. Если Жертва будет спасена и обретет индивидуальность, Спаситель потеряет свою терапевтическую и социальную функцию. Если Преследователь исчезнет, Спасителю придется заглянуть в бездну собственного «Я», где нет ничего, кроме подавленных травм и страха небытия. Поэтому инквизиционное сознание работает по принципу непрерывного конструирования угроз. Спаситель берет на себя миссию защиты уязвимых, но для этого он обязан непрерывно плодить Жертв, объявляя дееспособных людей «зазомбированными», и изобретать Преследователей, клеймя любые альтернативные формы мысли как «деструктивные культы». Так рождается диктаторский режим, где насилие маскируется под сострадание, а жажда тотального контроля — под заботу. Это

поразительный пример того, как индивидуальная психологическая травма, не будучи проработанной и осознанной, масштабируется до уровня общественно-политической деятельности, влияющей на жизни тысяч людей. Драматический треугольник в случае Дворкина стал не просто моделью межличностного общения, но превратился в идеологическую матрицу, определяющую характер государственно-конфессиональных отношений в целой стране. Он остался заложником деструктивной игры, где любовь заменена контролем, истина — догмой, а спасение — подавлением. Его путь наглядно иллюстрирует прочную истину о том, что невозможно принести свободу и мир другим людям, пока ты сам находишься в рабстве у собственных неосознаваемых демонов, бесконечно бегая по ролям треугольника Карпмана, где каждая победа оборачивается новым витком страдания, а каждый поверженный враг лишь подпитывает внутреннюю пустоту, требующую новых жертв для подтверждения своей иллюзорной значимости.

Если проанализировать многолетнюю деятельность Дворкина с клинической точки зрения, становится очевидным, что роль Спасителя превратилась для него в тяжелейшую психологическую аддикцию. Эта зависимость носит куда более глобальный характер, чем любые догмы тех религиозных групп, с которыми он борется. Спаситель не может остановиться, потому что его трезвость означает его психологическую смерть. Его психика работает в режиме непрерывной генерации угроз: если на горизонте не будет очередной «тоталитарной секты», стремящейся захватить разум россиян, его существование потеряет всякий смысл. Это объясняет феномен постоянного расширения его черных списков. Под каток дворкинского «сектоведения» со временем попали не только радикальные неорелигиозные группы, но и центры йоги, школы боевых искусств, психологические тренинги, экологические движения и даже отдельные академические исследователи, посмеявшие высказать отличную от его мнения точку зрения. Любое проявление своеобразия, любая попытка человека мыслить вне рамок предложенного Дворкиным консервативного шаблона трактуется им как признак сектантского вербовочного процесса. Он не может допустить существования свободной личности, поскольку свободная личность не нуждается в его насильственной опеке. Процесс так называемого «депрограммирования», который Дворкин активно пропагандировал, наглядно иллюстрирует этот садистический аспект

спасения. Чтобы спасти человека из секты, Спаситель одобряет методы, которые мало чем отличаются от насилия: психологическое давление, изоляцию, разрушение прежних социальных связей. Жертву лишают права выбора во имя ее же свободы. Спаситель проецирует на нее свой собственный психофизический инфантилизм, транслируя идею о том, что человек в принципе не способен самостоятельно принимать религиозные или мировоззренческие решения, а значит, за него это должен сделать авторитетный пастырь или сектовед. У Дворкина полностью отсутствует позитивная программа самоопределения. Если убрать из его биографии борьбу, суды, разоблачения и пресс-конференции, останется лишь пустота, заполненная старыми советскими страхами уязвимости, циклотимическим хаосом и детской незащищенностью. Он существует только отраженным светом тех костров, которые сам же разводит под ногами у людей. Его аддикция к спасению требует постоянного притока адреналина от борьбы, что превращает его жизнь в непрерывную войну с ветряными мельницами, которые он упорно объявляет драконами. В этой грандиозной проекции Дворкин распределил роли с абсолютной психологической точностью. В роли беззащитной, обманутой и духовно ослепленной Жертвы выступил весь российский народ, а особенно те несчастные адепты, которые оказались вовлечены в новые религиозные движения. Главными врагами стали организации, которые, по иронии судьбы, предлагали людям именно то, что сам он так отчаянно и безуспешно искал в своей юности: тесную общину, безусловное принятие, сильную авторитетную фигуру лидера и безопасность.

Его борьба против альтернативных структур привязанности была попыткой удержать монополию своей собственной «надежной базы» — Церкви. Если существуют другие пути спасения, другие авторитеты и другие общины, способные дать человеку чувство покоя, значит, его собственный выбор, его собственная жесткая система обороны не является единственно верной, а его хрупкая внутренняя безопасность может рухнуть в любой момент. Для стабилизации этой тревоги ему требовался перманентный внешний враг.

Рассмотрение жизненного пути Александра Дворкина через призму треугольника Карпмана позволяет сделать глубокий хоть и тревожный

философский вывод о природе современного репрессивного сознания. Драма Спасителя заключается в том, что он обречен на эволюцию в Преследователя.

Глава 2. За кулисами мессианского гнева

Юридическое поприще стало для Александра Дворкина не просто продолжением его публичной деятельности, но главной ареной, на которой разыгрывалась глубинная драма его собственной личности. В душных залах российских судов, среди шороха казенных бумаг, монотонного бормотания секретарей и напряженного молчания публики, его внутренний раскол обретал плоть и кровь. Именно здесь, в пространстве государственного правосудия, он искал не столько торжества закона, сколько тотального подтверждения собственного мессианского статуса, превращая каждое заседание в масштабное процессуальное побоище. Судебный процесс виделся ему идеальным инструментом выражения личной агрессии, где государственная машина должна была послушно штамповать его субъективные фобии и навязчивые идеи в виде общеобязательных вердиктов. Хотя столкновение с реальным сопротивлением оппонентов раз за разом срывало с него маску академического исследователя, обнажая уязвимую, глубоко травмированную структуру его психики. Необходимо провести детальный поведенческий и клинико-психологический анализ его действий в судебном и академическом контексте. Зал заседаний и университетская кафедра неизменно становились для Дворкина ментальным подиумом, на котором он разыгрывал сложнейшие внутренние сценарии, уходящие корнями в его юношеские травмы и психиатрический анамнез. В России он получил в свои руки мощнейший административный и церковный ресурс, совершив радикальный психологический кульбит, переместившись из роли Жертвы в роль яростного, карающего Преследователя. Вся его сектоведческая деятельность — это грандиозная компенсаторная проекция собственной уязвимости.

В залах судебных заседаний эта динамика проявлялась с пугающей отчетливостью. Входя в судебный процесс, Дворкин позиционировал себя исключительно как Спаситель — одинокий рыцарь веры, удерживающий общество от падения в бездну духовной гибели, щит, заслоняющий незащищенных граждан от коварных манипуляторов. Его нарциссическое величие требовало беспрекословного поклонения; он вел себя с подчеркнутым высокомерием, менторским тоном поучая судей, адвокатов и свидетелей. В его картине мира существовали только две категории людей: его верные адепты и абсолютные враги, сознательно служащие силам тьмы. Своих процессуальных оппонентов он воспринимал не как равную сторону в споре, а как угрозу, подлежащую немедленному устранению. Однако иллюзия мессианского величия Спасителя была чрезвычайно хрупкой. Стоило защите противоположной стороны проявить профессиональную жесткость, задать точный, неудобный вопрос или предъявить суду доказательства его собственной некомпетентности — например, указать на грубые исторические и теологические ошибки в его базовом учебнике, на что в свое время обращал внимание его бывший студент Александр Усатов — как маска Спасителя мгновенно осыпалась. В эти секунды в Дворкине просыпался жестокий, истеричный Преследователь, движимый паническим страхом разоблачения своей внутренней пустоты.

Нарциссическая травма провоцировала мгновенные вспышки неконтролируемого гнева. Он срывался на крик, переходил на личности, осыпал оппонентов оскорблениями и нелепыми обвинениями в личных пороках и связях с тайными лоббистскими структурами. Зал суда оглашался его резкими, эмоциональными тирадами, в которых логика полностью уступала место чистой, дистиллированной агрессии. В этой поведенческой модели отчетливо проступали клинические черты его старого диагноза. Неспособность к системному анализу, зафиксированная советскими психиатрами как снижение вторичных форм анализа и синтеза, компенсировалась апломбом и демагогией. Колебания настроения — от величественного спокойствия до яростного психоза — выдавали некомпенсированную циклотимию, заставляя его соратников из РАЦИРС регулярно вступать в бой, чтобы сгладить последствия очередного скандального срыва своего лидера. В моменты таких кризисов его окружение не гнушалось использовать в публичном пространстве

откровенную брань, стремясь любой ценой защитить пошатнувшийся авторитет своего демиурга.

Эта скрытая садистическая тяга к психологическому насилию, маскируемая под заботу о душах, проявлялась даже в мелких бытовых деталях его публичной активности, оставляя у очевидцев тягостное ощущение глубокого личностного неблагополучия. Александр Дворкин искренне наслаждался процессом публичного разоблачения, видя в сломанных судьбах людей, чьи семейные связи и репутации были разрушены его безапелляционными экспертизами, лишь необходимый сопутствующий ущерб в его священной войне.

В начале двухтысячных годов провинциальный Ярославль превратился в один из ключевых плацдармов этой затяжной войны, наглядно продемонстрировав методы работы столичного гостя в регионах. Местная религиозная община христиан веры евангельской и издаваемая ею газета «Екклесиаст» под руководством редактора Ярослава Сиверса посмели открыто оспорить монополию московского сектоведа на истину. Александр Дворкин обрушил на ярославских верующих всю мощь своего терминологического арсенала, без устали транслируя в местной прессе и на публичных лекциях утверждения о том, что община Сиверса является опасной, деструктивной сектой, разрушающей психику граждан и угрожающей национальной безопасности.

Ответным шагом со стороны журналистов и религиозных активистов стала серия публикаций, в которых методы Дворкина подверглись беспощадному анализу. В статьях «Екклесиаста» московский гость представлял не как защитник веры, а как фигура, вызывающая прямые исторические ассоциации с попом Георгием Гапоном — провокатором, ведущим доверившихся ему людей на бойню ради корыстных системных интересов. Кроме того, газета открыто подняла вопросы, которые Дворкин всегда стремился обходить стороной: наличие у него американского гражданства, поспешную эмиграцию из СССР в период обострения психического заболевания и очевидный недостаток профильного образования, ставший, по утверждению авторов, причиной его скандального изгнания из Московского государственного университета.

Судебное разбирательство, развернувшееся в Кировском районном суде Ярославля в две 2006 году, сопровождалось беспрецедентным накалом страстей. Зал заседаний напоминал не место беспристрастного юридического спора, а театр действий, где Александр Дворкин взял на себя роль главного режиссера и ведущего актера. Его выступления перед судьей изобиловали патетикой, картинными жестами и апокалиптическими пророчествами. Он говорил не на языке доказательств и документов, а на языке священной войны, в которой ярославская газета «Екклесиаст» виделась ему передовым отрядом глобального зла, штурмующим рубежи отечественной духовности. Дворкин требовал безоговорочного признания всех критических тезисов в свой адрес порочащей ложью, с трудом сдерживая раздражение, когда адвокаты оппонентов указывали на несоответствие его эмоциональных тирад юридическим нормам. Итоговое решение суда оказалось половинчатым, но крайне показательным. Судья действительно признал оскорбительным сравнение истца с попом Гапоном, усмотрев в этом очевидную попытку дискредитации. Однако в остальной части иска Дворкину было отказано: суд не счел порочащими сведения о его американском паспорте, поскольку сам сектовед не мог отрицать факт его получения в годы эмиграции. Более того, суд отказался признать ложными утверждения о недостаточном образовательном уровне Дворкина для чтения лекций в МГУ, мотивировав это тем, что претензии следовало предъявлять первоисточнику информации, а сам факт увольнения из ведущего вуза страны из-за несоответствия академическим стандартам и агрессивного тона преподавания остался непреложным историческим фактом.

Этот ярославский эпизод стал лишь бледной прелюдией к тем баталиям, которые годами сотрясали Хорошевский районный суд Москвы, по праву считавшийся неофициальной цитаделью антисектантского движения. Начиная со знаменитого процесса 1997 года, когда против Дворкина единым фронтом выступили Общественный комитет защиты свободы совести, правозащитник Лев Левинсон и бывший священник Глеб Якунин, Хорошевский суд превратился в постоянное место работы для адвокатов сектоведа.

Главным защитником его юридической обороны стал адвокат Александр Корелов, выстроивший уникальную, по-своему изощренную тактику защиты, которая фактически исключала классическое доказывание правоты ответчика и

строилась исключительно на тотальной превентивной дискредитации истцов. Всякий раз, когда представители нетрадиционных религиозных движений подавали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, Корелов и Дворкин разворачивали судебный процесс на сто восемьдесят градусов. Они превращали защиту от обвинений в клевете в масштабное судилище над самими истцами. Механизм этой тактики работал безупречно и безжалостно. Вместо предоставления суду конкретных доказательств того, что Дворкин не лгал в своих брошюрах, защита заваливала канцелярию суда многотомными «экспертными заключениями» сомнительного научного качества, написанными соратниками Дворкина по Российской ассоциации центров изучения религий и сект. В этих бумагах вероучение истцов препарировалось с позиции агрессивной ортодоксии, объявлялось социально опасным, суицидальным и антигосударственным. В залы судебных заседаний приглашались так называемые профессиональные свидетели — бывшие адепты, готовые часами делиться леденящими душу подробностями своей жизни в общинах, зачастую не имеющими никакого отношения к предмету иска. Корелов умело дирижировал этим процессом, переводя фокус внимания судьи с конкретных клеветнических высказаний Дворкина на обсуждение мирового заговора и финансовой нечистоплотности истцов. Подзащитный в это время величественно восседал за столом ответчика, изредка бросая на оппонентов презрительные взгляды и демонстрируя аудитории свое абсолютное интеллектуальное и моральное превосходство. Если же истцам удавалось прижать его к стене неопровержимыми фактами искажения цитат или прямой подтасовки данных, Дворкин мгновенно менял тактику, объявляя свои слова исключительно оценочными суждениями и личным мнением христианского публициста, защищенным конституционным правом на свободу слова — тем самым правом, в котором он упорно отказывал своим оппонентам.

Наиболее драматичным и политически заряженным стало прямое столкновение Александра Дворкина с цветом отечественного правозащитного движения — Московской Хельсинкской группой, ее бессменным лидером Людмилой Алексеевой. Ключевым моментом в этой истории послужил публичный эфир общественно-политической программы «Национальный интерес» на телеканале «Россия» 30 сентября 2006 года. В пылу дискуссии Дворкин, окончательно утративший чувство меры и процессуальной

осторожности, прямо перед объективами телекамер заявил на всю страну, что старейшая правозащитная организация России занимается лоббированием интересов деструктивных культов и фактически состоит на финансовом содержании у сайентологов.

Подобное обвинение, брошенное без единого документального подтверждения, глубоко задело Людмилу Алексееву, для которой безупречная репутация Московской Хельсинкской группы была делом всей жизни. Правозащитники немедленно обратились в Хорошевский районный суд Москвы с иском о защите деловой репутации, требуя публичного опровержения клеветы в том же эфирном времени. Последовавшая за этим процессуальная драма растянулась на два года и продемонстрировала всю изворотливость защитной машины Дворкина. На первом этапе, 14 мая 2007 года, Хорошевский суд вынес сенсационное заочное решение, полностью удовлетворив иск правозащитников и обязав ответчика за свой счет организовать опровержение на государственном телеканале. Александр Дворкин на это заседание демонстративно не явился.

Узнав о сокрушительном поражении, его команда включила режим экстренной юридической реанимации. Адвокат Александр Корелов развернул масштабную кампанию по отмене вердикта, апеллируя к формальным процессуальным нарушениям. Он утверждал, что его подопечный не был надлежащим образом уведомлен о дате процесса, поскольку судебная повестка была отправлена по старому адресу проживания сектоведа. Эта уловка сработала: 6 августа 2007 года решение было отменено, а само дело, получившее колоссальный общественный резонанс, передано для нового рассмотрения по существу в Басманный районный суд Москвы. В стенах данного суда противостояние Дворкина и правозащитников превратилось в символическую битва двух мировоззрений. Дворкин и его сторонники развернули в прессе настоящую травлю МХГ, обвиняя Людмилу Алексееву и Льва Пономарева в предательстве национальных интересов, грантоедстве и пособничестве иностранным спецслужбам, которые якобы используют тоталитарные секты для подрыва государственного суверенитета изнутри. Судебные заседания проходили в атмосфере беспрецедентного давления на истцов. В итоге 29 января 2008 года Басманный суд вынес решение, отказав правозащитникам в

удовлетворении их требований. Судейский вердикт базировался на ставшей уже классической для Дворкина формулировке: его скандальное заявление о финансировании МХГ сайентологами было признано судом не утверждением о конкретном факте, а всего лишь оценочным суждением, личным мнением эксперта, выраженным в рамках острой публичной дискуссии. Эта юридическая казуистика позволила Дворкину избежать ответственности, однако в глазах мыслящей части общества этот процесс окончательно закрепил за ним репутацию человека, использующего ложь как легитимное оружие в идеологической борьбе.

Судебная и академическая трибуны стали для него персональным наркотиком, позволявшим компенсировать детские страхи перед темнотой и навязчивое ощущение присутствия чужого за спиной через установление авторитарного контроля над жизнями других людей. Его борьба с сектами стала его персональным убежищем, его личной терапевтической палатой, в которой он десятилетиями проецировал свой внутренний ад на окружающий мир, разрушая человеческие судьбы, калеча академические стандарты и деформируя правовое поле страны ради одной единственной цели — защиты своей хрупкой, распадающейся личности от окончательного разоблачения и неизбежного возвращения на больничную койку.

Настоящим триумфом для Дворкина и одновременно глубочайшим шоком для всего академического сообщества стало его назначение в 2009 году председателем Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Это решение вызвало волну протестов среди ведущих ученых страны. Специалисты открыто заявляли, что человек, не имеющий профильного светского образования и признанной научной квалификации, чьи работы лишены академической глубины и строятся на предвзятых конфессиональных позициях, не имеет права возглавлять структуру, определяющую государственную политику в отношении религиозных организаций. Религиовед Ремир Лопаткин и адвокат Анатолий Пчелинцев прямо обвиняли Дворкина в превращении экспертизы в инструмент идеологического террора и разжигании межрелигиозной розни. Но Спаситель был глух к критике. Обретя государственный статус, он окончательно утвердился в своей роли

Преследователя, начав использовать весь судебный аппарат и административный ресурс для зачистки религиозного поля страны.

Ярким и трагикомичным памятником этой эпохи государственного антисектантства стал Томский судебный процесс 2011–2012 годов, где подконтрольные Дворкину структуры попытались признать экстремистским материалом священную для миллионов индуистов книгу «Бхагавад-гита как она есть». Этот процесс, инициированный местечковым рвением и подогретый столичными методичками сектоведов, быстро перерос рамки провинциального суда и спровоцировал беспрецедентный международный и дипломатический скандал. В Индии поднялась волна возмущения, дело обсуждалось на уровне парламента, а на улицах Дели разгневанные демонстранты сжигали чучело Дворкина. Этот инцидент наглядно продемонстрировал, как личные фобии и психическая нестабильность одного человека, возведенные в ранг государственной экспертизы, способны наносить колоссальный вред внешней политике великой державы. В Госдуму посыпались запросы от депутатов, включая Валерия Рашкина, требовавших проверить деструктивную деятельность Дворкина, чьи атаки на мировые религии и конфессии подрывали безопасность и стабильность России изнутри.

Параллельно со светскими битвами Александр Дворкин закреплял своё влияние в церковно-академической среде. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где он на протяжении тридцати лет читал лекции и возглавлял кафедру сектоведения, стал идеальным местом для реализации его потребности в постоянном доминировании. Здесь, за закрытыми дверями академических аудиторий, царила удушливая атмосфера средневекового догматизма и подозрительности. Коллеги по университету и бывшие соратники, некогда разделявшие его взгляды, постепенно начали осознавать всю опасность выбранного им курса. Теолог Александр Усатов в своей программной статье «Некомпетентный профессор» подверг сокрушительному разбору учебные пособия Дворкина, указав на вопиющие фактологические ошибки, незнание базовых языков Писания и неспособность автора признавать очевидные промахи. Усатов описал стиль общения Дворкина с оппонентами как мелочный, мстительный и далекий от христианского милосердия. Но гораздо страшнее

была атмосфера, в которую погружались студенты миссионерского факультета ПСТГУ. Под руководством своего профессора они вовлекались в психологические игры, где их учили видеть врагов в каждом прохожем, тренировали навыки психологического давления и противодействия вымышленной вербовке. Студент лишался права на сомнение и самостоятельный поиск истины. Тех, кто пытался возражать или задавать неудобные вопросы, ждала немедленная опала, психологический прессинг и угроза отчисления. К 2025 году эта глухая стена молчания начала течь. В публичном пространстве стали появляться шокирующие свидетельства бывших студентов ПСТГУ, рассказывавших о методах работы своего наставника. Заявления о том, что профессор Дворкин использовал шантаж, угрозы разрушения карьеры и психологическое насилие для принуждения молодых парней к интимной близости, взорвали благочестивый фасад кафедры сектоведения. Эти голоса очевидцев нарисовали картину глубокого морального разложения внутри структуры, которая позиционировала себя как главный форпост спасения душ. Спаситель, так долго боровшийся с контролем сознания в чужих организациях, создал собственную ассоциацию с жесточайшей иерархией, где тела и души учеников принадлежали ему безраздельно. Трагедия любого борца с драконами заключается в том, что он сам неизбежно становится драконом, если мотивом его борьбы является не любовь к истине, а страх перед собственной уязвимостью. Созданная им система антисектантства, опутавшая суды, министерства и духовные школы, в конечном счете оказалась точным зеркальным отражением тех самых деструктивных культов, против которых она создавалась.

Пытаясь компенсировать личные травмы бессилия и страха перед миром, человек берет на себя божественную функцию определения границ дозволенного, суверенитета чужой воли и чистоты чужого разума. Вчерашняя жертва советской системы, панически боявшаяся психиатрических диагнозов, сегодня сама становится верховным судьей, штампующим диагнозы социального и духовного несоответствия для сотен тысяч людей. Спаситель, призывавший защитить семьи от разрушительного влияния сект, создает систему «антикультового террора», разрушающую гражданский мир, сеющую подозрительность и ненависть, раскалывающую общество на праведников и скрытых еретиков. И этот процесс разрушения человеческих судеб будет

продолжаться до тех пор, пока общество не осознает простую истину: подлинное спасение человека начинается не с обретения грозного защитника, а с возвращения ему права на собственную субъектность, свободный выбор и ответственность за свою судьбу, без страха быть заклеянным очередным Спасителем, ставшим главным Преследователем своей эпохи.

Рассмотрение зрелых, институализированных форм Драматического треугольника подводит нас к критической точке аналитического исследования. Весь этот грандиозный и пугающий театр «мессианского гнева» — с его удушливой атмосферой судебных залов, агрессивной демагогией экспертных советов, ПСТГУ и догматическим прессингом — при детальном рассмотрении оказывается не более чем симптомом. Эта жесткая, непробиваемая броня Спасателя, с легкостью трансформирующегося в Преследователя, представляет собой отчаянную, энергозатратную попытку защитить хрупкое, фрагментированное Эго от окончательного распада. Субъект ведет бесконечную, обреченную на поражение войну, с собственной внутренней пустотой. Феноменологическое описание этих деструктивных макросоциальных динамик неизбежно оставляет открытым главный этиологический вопрос: где находится чертежный стол, на котором создаются эскизы этих ролей? Каким образом и в какой момент онтогенеза живая, пластичная психика оказывается заложницей столь ригидных, саморазрушительных сценариев?

Герменевтика Драматического треугольника неумолимо требует от исследователя совершить методологический шаг назад — от внешних, зрелых и социально легитимизированных битв к безмолвному, довербальному пространству детской комнаты. Именно там, в пространстве первичных объектных отношений, закладывается фундамент человеческой субъектности. Любая попытка разрешить загадку созависимости и мессианского насилия на уровне когнитивных убеждений взрослого человека обречена на провал, если мы игнорируем первичные трансакции в диаде «мать — дитя». Понимание того, как формируется здоровое Эго и почему оно дает сокрушительную трещину, уступая место манипулятивным играм треугольника Карпмана, лежит в плоскости исследований раннего детского опыта, природы человеческой привязанности и тех невидимых, но прочных связей, которые соединяют младенца с его матерью. Именно к этому эволюционному расколу, научным

битвам за право ребенка на любовь и глубинным механизмам формирования ролевых сценариев в горниле ранней травмы мы и обратимся в следующей главе.

Глава 3. Невидимая связь: эволюционный раскол и крушение догм

Происхождение деструктивного социального триумфа, как и зарождение глубочайших системных деформаций общества, неизменно берет свое начало в хрупкой тишине детской комнаты, где под бдительным, но эмоционально отчужденным взглядом значимых взрослых формируются первые, определяющие последующую жизнь контуры человеческой психики. Сквозь поздние слои социализации, профессиональной идентичности и декларируемых ценностей неизбежно проглядывают первичные, зачастую глубоко травматические ландшафты раннего детского опыта. В рамках современной клинической психологии, психоанализа и криминалистического профайлинга психобиографический метод выступает в качестве одного из наиболее точных инструментов реконструкции душевной жизни субъекта. Данный подход базируется на фундаментальной предпосылке о том, что ни одно индивидуальное действие, будь то создание разветвленной социальной структуры или совершение акта предельной деструктивности, не происходит вне связи с интрапсихической историей его автора. Внешние вехи биографии являются лишь демонстрацией скрытых, подчас неестественных компромиссных образований, формирующихся в процессе адаптации эго к требованиям внешней среды и давлению бессознательных влечений. Особое значение для понимания деструктивного поведения имеет исследование тех случаев, когда неразрешенный личностный невроз или глубокая психопатология не находят адекватной интеграции, а начинают проростать,

подчиняя себе социальные институты и трансформируя индивидуальную боль в механизмы коллективного подавления.

В середине двадцатого столетия в науке о человеческой душе зрел тихий, но тектонический сдвиг. Психопанализ и бихевиоризм, безраздельно властвовавшие на интеллектуальной арене, сошлись в удивительном согласии по одному ключевому вопросу: природа детской любви к матери вторична и утилитарна. Ортодоксальный психопанализ Зигмунда Фрейда утверждал, что младенец привязывается к матери исключительно потому, что она удовлетворяет его оральное влечение, выступая в роли источника питания. Младенческая любовь виделась лишь побочным продуктом снижения физиологического напряжения, где грудь была первым объектом либидо.

На противоположном полюсе научного дискурса находился радикальный бихевиоризм Джона Уотсона, рассматривавший ребенка как пластичный механизм, реагирующий на стимулы и подкрепления. С этой точки зрения, материнская забота трактовалась как условный раздражитель, прочно ассоциирующийся с безусловным стимулом — пищей. Уотсон предостерегал матерей от избыточной нежности, ласк и объятий, утверждая, что подобные проявления «изнеживают» ребенка и калечат его характер, превращая в инфантильного слабачка. Эта доминирующая концепция, которую Джон Боулби впоследствии иронично назовет теорией «любви из буфета», сводила глубочайшую человеческую потребность в эмоциональной близости к банальному пищевому инстинкту и калкуляции калорий.

Джон Боулби, английский психопаналитик и психиатр из аристократической семьи, совершил интеллектуальное святотатство, подвергнув сомнению обе эти ортодоксии. Его собственный жизненный опыт — воспитание холодной няней, ранняя разлука с домом и последующая работа с девиантными подростками в клинике Тависток — подсказывал ему, что в формуле человеческого развития пропущен важнейший элемент. Боулби интуитивно чувствовал, что стремление ребенка к физической близости, теплу и утешению со стороны значимого взрослого является первичной, автономной биологической потребностью, не сводимой ни к голоду, ни к сексуальному влечению. Он дерзнул предположить, что человеческий детеныш рождается на свет генетически запрограммированным искать и поддерживать контакт со

своей матерью, и эта потребность столь же фундаментальна для выживания, как питание и дыхание. Чтобы доказать свою гипотезу, Боулби пришлось выйти за тесные рамки психоаналитического кабинета и обратиться к эволюционной биологии. Он понял, что в условиях, где формировался наш вид, беззащитный младенец, оставшийся без присмотра даже на несколько минут, неизбежно становился легкой добычей для хищников. В этой враждебной среде выживали лишь те дети, у которых была развита система сигнализации — плач, призывный крик, улыбка и цепляние, — заставляющая взрослого немедленно приближаться и восстанавливать физический контакт. Таким образом, привязанность сформировалась в горниле естественного отбора как жизненно важный защитный механизм, направленный на обеспечение физической безопасности. Боулби переосмыслил тревогу разлуки не как невротический симптом или проявление незрелого эго, а как здоровый, эволюционно оправданный сигнал тревоги, запускающий спасительное поведение сближения. Это был радикальный переворот: любовь и привязанность были извлечены из плоскости метафизических фантазий и утилитарного обмена и помещены в самый центр биологического выживания вида.

Для обоснования своей революционной теории Боулби требовались эмпирические доказательства, которые классическая психология предоставить не могла. Спасительный мост между умозрительными выводами и строгой наукой перебросила этология — наука о поведении животных в естественной среде. Первым важнейшим кирпичиком в фундамент теории привязанности стали исследования австрийского натуралиста Конрада Лоренца, открывшего феномен импринтинга, или запечатления. Лоренц обнаружил, что только что вылупившиеся гусята автоматически следуют за первым движущимся объектом, который они увидят в критический период своей жизни, будь то их биологическая мать, надувной мяч или сам Лоренц в своих болотных сапогах. Это запечатление происходило мгновенно, без всякого предварительного пищевого подкрепления или обучения. Гусята следовали за Лоренцем не потому, что он их кормил, а потому, что их нервная система была генетически настроена на поиск ориентира для следования. Этот факт нанес сокрушительный удар по теории «любви из буфета» и доказал, что инстинкт следования и близости первичен.

Однако птицы далеки от млекопитающих, и Боулби требовались более близкие к человеку аналогии. Их предоставили трагические и одновременно прорывные эксперименты американского психолога Гарри Харлоу с макаками-резусами. Харлоу помещал новорожденных детенышей обезьян в изолированные клетки, где находились две искусственные суррогатные матери. Одна из них была сделана из жесткой металлической проволоки, но снабжена бутылочкой с молоком, из которой детеныш мог кормиться. Вторая «мать» была холодной, бездушной и не давала никакой пищи, но была бережно обтянута мягкой, теплой махровой тканью. Согласно бихевиористской логике, детеныши должны были привязаться к проволочной кормилице. Результаты экспериментов потрясли научный мир: маленькие макаки проводили почти все свое время, до двадцати двух часов в сутки, прижавшись к теплой тряпичной матери. К проволочной кормилице они совершали лишь короткие, вынужденные вылазки ради того, чтобы утолить голод, после чего немедленно возвращались в мягкие объятия тканевого суррогата. Более того, при появлении пугающего стимула — например, механического барабнящего робота — детеныши в панике бежали именно к тряпичной матери, искали у нее защиты и, успокоившись в ее объятиях, обретали смелость исследовать пугающий объект. Харлоу ввел в научный обиход понятие «контактного утешения», доказав, что тактильное тепло, нежность и безопасность значат для развития психики неизмеримо больше, чем простое насыщение желудка.

Параллельно с экспериментами на животных накапливались пугающие наблюдения за человеческими детьми, лишенными материнского тепла. Франко-американский психоаналитик Рене Шпиц обратил внимание на парадоксальную и жуткую смертность младенцев в послевоенных приютах и детских домах. Эти заведения отличались безупречной стерильностью, дети получали прекрасное питание и медицинский уход, однако они увядали на глазах, словно лишенные солнечного света растения. Шпиц описал синдром госпитализма и анаклитической депрессии. Лишенные индивидуального эмоционального контакта, ласки и укачивания, младенцы сначала безутешно плакали, затем впадали в апатию, замирали, отказывались от еды, их физическое и психическое развитие резко замедлялось, а иммунная система угасала. Многие из них погибали от банальных инфекций, которые их сверстники в семьях преодолевали без труда. Шпиц наглядно

продемонстрировал, что стерильная палата и калорийная смесь без материнской нежности превращаются в смертоносное оружие. Эти данные окончательно убедили Боулби в том, что материнская забота является незаменимой психологической средой обитания младенца, без которой его развитие искажается, а сама жизнь оказывается под угрозой.

Если Джон Боулби сформулировал теоретические координаты новой парадигмы, то его ближайшая соратница, американская исследовательница Мэри Эйнсворт, дала ей эмпирическую плоть и методологическую строгость. Проведя долгие годы в наблюдениях за матерями и младенцами сначала в Уганде, а затем в Балтиморе, Эйнсворт осознала, что качество привязанности неодинаково у разных пар. Чтобы измерить и классифицировать эти индивидуальные различия, она разработала гениальную экспериментальную процедуру, вошедшую в анналы психологии под названием «Незнакомая ситуация». Этот лабораторный тест, предназначенный для детей в возрасте от одного года до полутора лет, представлял собой изящную психологическую драму в восьми актах, разворачивающуюся в комнате, наполненной игрушками. В ходе теста ребенок последовательно сталкивался с нарастающим уровнем умеренного стресса: присутствием незнакомого взрослого, уходом матери, пребыванием в одиночестве и, наконец, возвращением самого близкого человека.

Эйнсворт обнаружила, что ключ к пониманию внутренней рабочей модели ребенка лежит не в том, как он реагирует на разлуку с матерью, а в том, как он ведет себя в момент воссоединения с ней. Именно в эти секунды, когда дверь открывается и мать возвращается в комнату, детская психика обнажает свои адаптивные стратегии. На основе этих наблюдений Эйнсворт выделила три базовых типа привязанности, к которым позже, благодаря исследованиям ученицы Эйнсворт Мэри Мейн, добавился четвертый, наиболее деструктивный тип.

Большинство детей демонстрировали надежный тип привязанности. В присутствии матери они активно и с любопытством исследовали комнату, использовали ее как «надежную базу» для своих радиальных вылазок к игрушкам, периодически оглядываясь и сверяя с ней свои эмоции. Уход матери вызывал у них естественное огорчение, они могли плакать и протестовать, а

появление незнакомца их настораживало. Однако в момент возвращения матери они радостно бежали к ней навстречу, легко шли на руки, быстро успокаивались под влиянием ее утешения и объятий, после чего с легким сердцем возвращались к прерванной игре. Матери таких детей отличались высокой чувствительностью и отзывчивостью: они умели считывать сигналы младенца, откликались на его плач нежностью, а не раздражением, и уважали его автономию.

Совершенно иначе вели себя дети с тревожно-амбивалентным типом привязанности. Они изначально были слишком сосредоточены на фигуре матери, проявляли повышенную тревожность и неохотно исследовали пространство, словно ожидая подвоха. Уход матери ввергал их в состояние глубокого отчаяния и паники. Но самым поразительным было их поведение при возвращении матери. Вместо того чтобы обрести покой в ее объятиях, эти младенцы демонстрировали глубокую и мучительную амбивалентность. Они отчаянно тянулись к ней, требуя физического контакта, но в то же самое время в ярости отталкивали ее, выгибались всем телом, кричали, били кулачками по плечам и не позволяли себя успокоить. Их внутренний мир был расщеплен между невыносимой жаждой близости и глубокой обидой за то, что эта близость была временно утрачена. Внутренняя рабочая модель таких детей отражала хаотичную, непредсказуемую вселенную, где материнская фигура то ласкова и доступна, то внезапно холодна, равнодушна или занята собственными переживаниями. Чтобы удержать этот ускользающий источник безопасности рядом, ребенку приходилось до предела выкручивать регулятор своей эмоциональной экспрессии, превращая плач в непрекращающийся крик о помощи.

В противовес им, младенцы с избегающе-отвергающим типом привязанности разыгрывали на сцене «Незнакомой ситуации» драму мнимого равнодушия. Они практически не реагировали на уход матери и демонстративно игнорировали ее триумфальное возвращение, продолжая внешне спокойно манипулировать игрушками. Однако внешнее хладнокровие было лишь хрупким защитным фасадом. Когда исследователи начали замерять их физиологические показатели, они обнаружили картину, которая потрясла основы тогдашней педиатрии и психологии. На фоне абсолютного внешнего

дружелюбия, невозмутимости и даже холодного безразличия к уходу и возвращению матери, датчики фиксировали у этих младенцев резкое учащение сердцебиения, критический подъем уровня гормона стресса кортизола в слюне и выраженную кожную гальваническую реакцию. В то время как годовалый ребенок внешне спокойно и методично перебирал пластмассовые кубики, не удостоив вошедшую мать даже мимолетным взглядом, его тело буквально кричало от невыносимой паники. Это было величайшее открытие Мэри Эйнсворт и ее коллег: избегание близости — это не отсутствие потребности в ней, а выученная, энергозатратная оборонительная стратегия. Это глубоко травмирующий компромисс, на который вынуждена идти незрелая детская психика, чтобы сохранить хрупкую связь с родителем. Ребенок интуитивно понял, что его искренние сигналы бедствия — плач, призыв о помощи, стремление прижаться — вызывают у матери лишь раздражение, холодность или ответную агрессию. Чтобы не потерять опекуна окончательно и защитить себя от непереносимой боли постоянного отвержения, младенец принял решение выключить внешний проявление эмоций, задушить собственный плач и заковаться в латы мнимой, фасадной самодостаточности.

Биологическая цена такой адаптации оказалась колоссальной. Джон Боулби неустанно подчеркивал, что эволюционная функция привязанности заключается не просто в защите от физических хищников, но и в создании интрапсихического субстрата для регуляции гомеостаза. Материнский организм служит внешним биологическим регулятором для незрелой нервной системы младенца. Когда этот регулятор отзывчив и доступен, ребенок учится самостоятельно справляться со стрессом, интериоризируя образ надежного и безопасного мира. Если же опекун систематически отвергает младенца в моменты его уязвимости, как это происходит при избегающем типе, или ведет себя непредсказуемо и хаотично, как при тревожно-амбивалентном, нейробиологическая матрица развития закладывается с глубокими дефектами. Постоянно циркулирующие гормоны стресса буквально выжигают синаптические связи в префронтальной коре и гиппокампе, фиксируя мозг в режиме непрерывного выживания. Постепенно, по мере того как ребенок взрослеет, эти ранние адаптивные паттерны кристаллизуются во внутренние рабочие модели себя и других. Эти модели становятся той невидимой призмой, через которую человек смотрит на мир, строит карьеру, выбирает партнеров и

пытается совладать со своей экзистенциальной тревогой. Суть заключается в том, что бессознательное стремится к воспроизводству привычного ада. Взрослый человек, выросший из младенца с тревожной привязанностью, продолжает жить в постоянном, изнуряющем страхе покинутости, видя признаки скорого предательства в малейшем изменении тона партнера. Его жажда слияния становится удушающей, а границы — размытыми. С другой стороны, взрослый с избегающим паттерном превращает свою жизнь в неприступную крепость, где любая эмоциональная близость приравнивается к смертельной угрозе поглощения или повторного отвержения. Нарушения первичной привязанности, таким образом, закладывают прочный фундамент для деструктивных моделей поведения во взрослой жизни, превращая человеческие взаимоотношения в поле непрекращающейся битвы за безопасность, которой никогда не бывает достаточно.

Пытаясь как-то упорядочить и стабилизировать этот хаос нереализованных детских потребностей, взрослая психика прибегает к сложным социальным играм и манипуляциям. Именно в этой точке обнаруживается глубокая и поразительная корреляция между теорией привязанности Джона Боулби и концепцией Драматического треугольника, сформулированной американским психотерапевтом Стивеном Карпманом. Модель Карпмана, описывающая патологическое межличностное взаимодействие через смену трех ролей — Жертвы, Спасателя и Преследователя, — представляет собой не просто поведенческую схему, но внешнюю, феноменологическую проекцию глубоких интрапсихических травм привязанности. Треугольник Карпмана — это, в сущности, трагический балет, хореографию которого пишут дефицит безопасности и страх одиночества.

Вернёмся к анализу биографии Александра Дворкина, идеолога отечественного антикультизма, сквозь призму глубокого аналитического разбора. Для экспликации внутренних механизмов трансформации обратимся к теории привязанности Джона Боулби, которая служит надежным теоретическим базисом для анализа ранних этапов онтогенеза. Согласно Боулби, базовая потребность развивающегося индивида состоит в установлении безопасной эмоциональной связи со значимым взрослым, обеспечивающей

формирование внутренней рабочей модели мира как предсказуемого и поддерживающего пространства. Нарушение этого процесса влечет за собой формирование ненадежных типов привязанности — тревожного, избегающего или дезорганизованного, — которые во взрослом возрасте предопределяют деформацию всей системы объектных отношений. В случае Дворкина мы имеем дело с наиболее тяжелым, дезорганизованным поведением, где значимый взрослый одновременно является источником безопасности и источником страха. Именно этот парадокс запускает в психике компенсаторные механизмы колоссальной силы, переводящие невыносимую внутреннюю незащищенность в плоскость полного контроля над внешней реальностью. Переходя от теоретического обоснования к конкретным фактам, необходимо обратиться к процессу формирования этих деструктивных реакций, укорененных в специфике семейного окружения будущего лидера антикультового движения.

Настоящий биографический очерк опирается исключительно на верифицированные публичные материалы, фундаментальные труды и статьи исследователей, чей кропотливый труд позволил по крупицам воссоздать достоверную хронологию описываемых событий.

Исследование домашнего микрокосма, в котором формировалась личностная структура Александра Дворкина, обнаруживает разительный раскол между внешним интеллектуальным благополучием советской академической элиты и глубокой эмоциональной депривацией внутри семейной системы. Будущий исследователь родился в Москве, в престижной гуманитарной среде на улице Герцена. Его мать, Бронислава Зиновьевна Букчина, была видным ученым-филологом, кандидатом наук, доцентом Института русского языка Академии наук СССР и автором фундаментальных орфографических словарей. Маленький Саша рос в окружении книг, авторитетных ученых и интеллектуального лоска, однако за этим безупречным фасадом скрывался холодный, регламентированный мир, лишенный подлинного эмоционального тепла. Фигура матери в психобиографической ретроспективе предстает в качестве нарциссически расширенной, доминирующей и требовательной инстанции. Гиперопека, направленная на сохранение престижного статуса семьи, сочеталась с абсолютной холодностью к субъективным переживаниям ребенка, что сформировало у мальчика глубокую амбивалентность —

мучительную потребность в материнском тепле, сопряженную с паническим страхом быть поглощенным ее ледяной, оценивающей требовательностью. В такой среде любовь и признание редко даруются безусловно; они становятся наградой, которую ребенок должен заслужить через демонстрацию интеллектуального превосходства, послушания и соответствия высоким ожиданиям. Для маленького Александра, не обладавшего от природы ни выдающимися физическими данными, ни естественным авторитетом среди сверстников, этот родительский прессинг стал источником хронического онтологического стресса. Ребенок, чья потребность в безусловной безопасности систематически игнорируется или обуславливается внешними достижениями, усваивает жесткую внутреннюю рабочую модель: мир небезопасен, другие люди являются источником угрозы и оценки, а собственная уязвимость должна быть глубоко спрятана за фасадом компенсаторного величия или ухода в фантазийные миры.

Этот хрупкий баланс, державшийся на жестких требованиях внешней успешности, окончательно рухнул, когда отец Александра, профессиональный инженер, навсегда покинул семью. Внезапное исчезновение отца стало для мальчика сокрушительным переживанием, классифицируемым в психоанализе как травма брошенности и кастрационный кризис предпубертатного периода. В этой фазе развития отцовская фигура критически необходима ребенку для осуществления успешной сепарации от материнской фигуры и интеграции мужской идентичности. Уход отца лишил Сашу потенциального источника защиты и стабильности, оставив его в замкнутом пространстве женского доминирования матери. Крах семейной структуры породил у ребенка глубокое чувство стыда и дефектности; он ощутил себя ненужным, преданным той самой мужской фигурой, которая должна была служить репрезентантом внешнего закона и безопасности. Эта травма скорее всего заложила основу для последующего недоверия к любым мужским авторитетам и сформировала хроническое ожидание предательства от близких объектов.

Затем это место авторитета было заполнено дедушкой по материнской линии — профессором и доктором экономических наук, чье присутствие привнесло в семейную систему тяжелейшие элементы трансгенерационной травмы. Дедушка, переживший сталинские лагеря, транслировал в домашнее

пространство переработанный опыт выживания в условиях семейного террора. Став для мальчика отцом, этот человек не принес с собой безопасности; напротив, он воссоздал в масштабах квартиры невыносимую модель отношений. Его методы воспитания отличались деспотизмом, систематическим вербальным насилием и моральным унижением внука. Постоянные эпитеты вроде «паразита» и угрозы отправить ребенка в колонию для несовершеннолетних за малейшие неудачи или проявления слабости сформировали у Саши стойкое ощущение перманентной внешней угрозы. Ребенок усвоил ключевой урок этой деформированной семейной педагогики: мир разделен на палачей и жертв, закон есть лишь инструмент насилия, а единственная возможность спастись от унижения — это самому занять позицию надсмотрщика. Данный дефицит базового доверия к миру, сформированный в семье, неизбежно определил трагический характер взаимодействия ребенка с внешней социальной реальностью.

Выход Александра Дворкина за пределы семейного круга в пространство школьного социума не принес ему избавления от внутреннего напряжения, а лишь усугубил его. Его школьные годы, прошедшие в череде сменяющих друг друга московских школ, стали хронологией социальной изоляции и систематического отвержения. Будучи физически слабым, нескладным подростком, лишенным спортивных навыков и не проявлявшим выдающихся успехов в точных науках, Саша вызывал у сверстников стойкое неприятие. Учеба давалась ему с трудом, особенно математические дисциплины, что вызывало раздражение учителей и насмешки одноклассников. Единственной формой адаптивного ухода от невыносимой реальности школы для него стало тайное чтение исторических романов на уроках, погружение в воображаемые миры, где он мог идентифицироваться с сильными, могущественными персонажами. Попытка компенсировать академическую и социальную несостоятельность обучением в художественной школе, начатым в раннем детстве, также завершилась неудачей и разочарованием — в девятом классе он забросил рисование, столкнувшись с невозможностью получить признание, в котором так остро нуждалось его уязвленное эго.

Школьная среда быстро превратилась для Дворкина в пространство перманентной травматизации, где он подвергался систематическому буллингу и

физическому насилию. Сверстники безошибочно распознавали его внутреннюю надломленность, неуверенность и страх, делая его объектом регулярных издевательств. В отчаянной попытке защититься и завоевать хотя бы минимальный статус в группе, Саша начал прибегать к постоянному фантазированию и лжи. Он выдумывал для себя фантастические биографии, рассказывал сверстникам о своем несуществующем влиянии, связях и тайном могуществе. Однако эта незрелая, продиктованная паникой ложь быстро раскрывалась одноклассниками, что приводило к еще большему позору, росту агрессии со стороны сверстников и новым, более жестоким побоям. Замкнутый круг, состоящий из фантазийной компенсации, разоблачения, публичного унижения и насилия, окончательно закрепил за ним статус абсолютного изгоя.

В этот период у Дворкина происходит окончательное оформление дезорганизованного типа привязанности, сочетающего в себе черты тревожного и избегающего мотивов поведения. С одной стороны, он испытывал острую, тревожную потребность в созависимом слиянии с группой, в получении ее одобрения и признания своей ценности. С другой стороны, панический страх отвержения и близости заставлял его выстраивать жесткую эмоциональную броню, презирать человеческую уязвимость и видеть во всех окружающих потенциальных агрессоров. Эта интрапсихическая фрагментация сделала невозможным формирование здоровой эмпатии. Накопленная годами ярость, порожденная домашним деспотизмом дедушки и школьным кошмаром, требовала немедленной разрядки. Не имея возможности направить эту агрессию на реальных мучителей, психика подростка начала искать объект, на который можно было бы спроецировать собственную невыносимую слабость и совершить акт компенсаторного насилия. Данная динамика нашла свое страшное разрешение в трагедии, ставшей поворотной точкой в психопатологическом развитии личности Дворкина.

Переход Александра Дворкина от вытесненных садистических фантазий к их непосредственной физической реализации произошел в девятом классе и ознаменовался чудовищным актом насилия над беззащитным первоклассником в глухой, заброшенной яме. С точки зрения психоаналитической теории развития, данный инцидент можно рассмотреть, как пример радикального отыгрыша вовне, совершенного с целью предотвращения полного распада

эго-структуры подростка под давлением непереносимого аффекта беспомощности. Субъект, годами находившийся в позиции пассивной жертвы домашнего и школьного насилия, накопил критическую массу персекуторной тревоги. В этой точке психического развития единственным способом выживания для него стало совершение транзита из пассивной позиции в активную — превращение из жертвы в палача. Выбор в качестве объекта насилия беззащитного, маленького ребенка имеет глубокое символическое значение в контексте интрапсихической динамики Дворкина. В данном акте первоклассник выступил в роли живого экрана для проективной идентификации. На этого ребенка он спроецировал свою собственную слабую, уязвимую, презируемую детскую часть, которая подвергалась унижениям со стороны дедушки и одноклассников. Совершая над мальчиком жестокое физическое и сексуализированное насилие, Дворкин осуществлял символическое уничтожение собственного невыносимого опыта беззащитности. Глубокая яма, скрытая от глаз социума, превратилась в психопатологическое сакральное пространство, где обычные социальные законы были временно упразднены, уступив место абсолютному господству субъекта над телом и жизнью другого человека. В этот момент насилие выступило для него в качестве извращенного акта: причиняя невыносимую боль жертве, он получал мгновенное избавление от собственной душевной боли, испытывая пьянящее чувство всемогущества.

Завершение преступления — хладнокровное закидывание ребенка камнями в яме — иллюстрирует действие такого защитного механизма, как полное вытеснение эмпатии и деактивация системы привязанности. Бросая тяжелые камни, Дворкин ментально изолировал себя от криков о помощи, которые когда-то в его собственном детстве игнорировались холодной матерью Брониславой Зиновьевной. Каждый бросок становился попыткой навсегда похоронить под землей, замуровать в бессознательном собственную уязвимость и страх. Возможно, именно в этой яме Дворкин впервые пережил то, что можно назвать садистическим триумфом — иллюзию обретения «силы Бога», абсолютной власти над бытием другого, не ограниченной никакими этическими рамками. Этот опыт навсегда зафиксировал в структуре его характера представление о том, что личная безопасность и величие могут быть достигнуты только через подавление, унижение и уничтожение того, кто слабее. Однако это

чудовищное деяние требовало немедленного сокрытия, что повлекло за собой следующее преступление, закрепившее трансформацию его личности.

Если расправа над первокласником была актом аффективного отыгрывания, направленным на преодоление хронического чувства беспомощности, то последующее убийство единственного свидетеля — мальчика Яши по прозвищу Заикашка — стало прагматичным, расчетливым шагом, ознаменовавшим переход к абсолютной избегающей защите и окончательную консолидацию психопатического характера.

Яша знал о страшном секрете Дворкина. Наличие свидетеля означало прямую угрозу разоблачения, возвращения в статус презренного «паразита», подлежащего наказанию со стороны деспотичного дедушки и правоохранительной системы. Устранение Яши стало актом холодного самосохранения, потребовавшим от психики подростка полного уничтожения остаточных следов человеческой эмпатии. Гибель маленького Яши у пруда символизирует окончательный разрыв Дворкина с регистром человеческих привязанностей. В теории Джона Боулби подчеркивается, что в условиях хронического насилия и отсутствия безопасного объекта психика может прибегнуть к так называемому эмоциональному онемению — состоянию, при котором способность сопереживать чужой боли полностью атрофируется ради защиты собственного эго от перегрузки. Заикание Яши, его трогательная детская беззащитность и доверие к миру выступали для Дворкина невыносимым напоминанием о той хрупкости, которую он сам в себе презирал и пытался уничтожить. Ликвидировав свидетеля, он не просто устранил угрозу своей безопасности; он совершил символическое убийство последнего зеркала, в котором могла отразиться его собственная человеческая сущность.

В процессе этого двойного преступления произошел окончательный раскол эго. Чувство вины и раскаяния было полностью изолировано и вытеснено в глубокие слои бессознательного, поскольку признание содеянного привело бы к мгновенному психическому коллапсу и саморазрушению. Психика Дворкина защитилась посредством формирования патологического грандиозного «Я», неуязвимого для угрызений совести и этических сомнений. Другие люди отныне перестали восприниматься им в качестве живых субъектов, обладающих собственными чувствами и правами; они превратились в неодушевленные

объекты, инструменты или препятствия на пути его борьбы за доминирование. Пустое небо над прудом, где исчез маленький Яша со своими корабликами, навсегда отразилось в душе Дворкина ледяной, безвоздушной пустотой, ставшей основой его взрослого характера. Эта внутренняя пустота и потребность в постоянном подтверждении своего грандиозного всемогущества определили характер его последующей общественной деятельности во взрослой жизни.

Паттерны деструктивного поведения, сформировавшиеся в детстве и пубертатном периоде, при отсутствии их осознания и глубокой психотерапевтической проработки неизбежно проецируются на взрослую жизнь субъекта, определяя характер его социальной активности. В случае Александра Дворкина его многолетняя, агрессивная антикультовая деятельность, преследование разных течений и создание репрессивного центра представляют собой прямую, высокоструктурированную сублимацию ранних садистических импульсов и компенсаторных механизмов. То, что в подростковом возрасте реализовывалось им в масштабах темной ямы и заброшенного пруда, во взрослом возрасте развернулось в масштабах целого общества, приняв легитимную форму борьбы за духовную безопасность и защиту традиционных ценностей.

Интрапсихическая динамика антисектантской риторики Дворкина с поразительной точностью воспроизводит его детские страхи и конфликты в родительской семье. Инструменты, к которым прибегает Дворкин в своей взрослой деятельности — публичная стигматизация, навешивание ярлыков, дегуманизация представителей альтернативных религиозных движений, призывы к их преследованию и разрушению их общин — являются прямой ментальной проекцией закидывания камнями в яму. В его взрослой практике изменился лишь медиум насилия: физические камни были заменены тяжелыми, травмирующими ярлыками («тоталитарные секты», «деструктивные культы»), псевдонаучными концепциями и агрессивной демагогией. Объявляя целые группы верующих социально опасными элементами и лишая их права на человеческое достоинство, Дворкин осуществляет ту же процедуру дегуманизации жертвы, которую он провел в отношении первоклассника в яме. Это позволяет ему вновь и вновь испытывать

пьянящий восторг садистического триумфа, но теперь этот восторг узаконен общественным признанием, академическим статусом и поддержкой властных структур, что надежно ограждает его от детского страха разоблачения и наказания.

Анализ взрослой активности Александра Дворкина обнаруживает глубокую созависимую природу его объектных отношений, сформированных под влиянием дезорганизованного типа привязанности. Субъект, переживший тяжелую травму брошенности и систематического насилия со стороны первичных фигур, во взрослом возрасте демонстрирует выраженную амбивалентность во взаимодействии с властными институтами. Его поведение колеблется между двумя полюсами: стремлением к полному, созависимому слиянию с мощными, авторитарными структурами и столь же сильной потребностью в беспощадном подавлении тех, кто находится ниже его в социальной иерархии.

С одной стороны, Дворкин проявляет крайнюю степень тревожной созависимости и рабской покорности по отношению к сильным мира сего — государственному аппарату, силовым структурам и доминирующим религиозным институтам. В его внутренней психической реальности эти гигантские организации выступают в качестве идеализированного, всемогущего отцовского объекта, способного предоставить ту абсолютную защиту и стабильность, которых он лишился после ухода отца. Стремясь заслужить одобрение и принятие со стороны этой символической «родительской» инстанции, Дворкин демонстрирует безусловную лояльность и готовность выполнять самые жесткие репрессивные функции. Это слияние с властью позволяет его хрупкому, травмированному эго временно избавиться от постоянной тревоги, даруя иллюзию причастности к великой, неоспоримой силе, стоящей над законом.

С другой стороны, эта созависимая покорность перед сильными мгновенно компенсируется крайней жестокостью и высокомерием по отношению к тем, кто лишен защиты государственных или церковных институтов. В отношении религиозных меньшинств, независимых исследователей и любых оппонентов Дворкин транслирует свой расщепленный, избегающий полюс привязанности. Он проецирует на них свою собственную, глубоко запрятанную слабость и

уязвимость, подвергая их яростным нападкам. Любое проявление автономии, независимости или критического мышления со стороны других людей воспринимается им как личная угроза, актуализирующая его детские травмы школьного изгойства и домашнего бессилия. Уничтожая чужую свободу и право на самоопределение, Дворкин судорожно защищает свой внутренний компромисс с властью, стремясь превратить все внешнее пространство в жестко контролируемую среду, где никто не посмеет подвергнуть сомнению его мнимое величие.

Глубокое психобиографическое исследование жизненного пути Александра Дворкина через призму поведенческого анализа Джеймса Ресслера и теории привязанности Джона Боулби подводит к важнейшему психологическому и этическому вопросу о пределах детерминизма в человеческой судьбе. Не вызывает сомнений, что семейная микросреда Дворкина — холодность и нарциссическая требовательность матери, травма внезапного ухода отца, жестокий деспотизм бабушки и систематический кошмар школьного буллинга — создали крайне токсичную почву, предопределившую глубокий психологический надлом подростка. Однако в рамках современной гуманистической психологии и экзистенциального анализа постулируется, что тяжелое детство и травматический опыт не являются фатальным приговором, жестко детерминирующим превращение человека в чудовище. Каждый взрослый индивид обладает уникальной способностью к саморефлексии, позволяющей ему занять дистанцию по отношению к собственному прошлому и совершить осознанный выбор.

История человечества и клиническая практика знают бесчисленное множество примеров, когда люди, прошедшие через концлагеря, жесточайшее домашнее насилие, сиротство и социальное отвержение, находили в себе силы не транслировать полученную боль дальше в мир. Они выбирали путь исцеления через психотерапию, творчество, социальное служение и прощение. Эти люди осознанно отказывались от роли палача, понимая, что приумножение насилия лишь усугубляет их собственную травму, и находили ресурсы для интеграции своей уязвимости, превращая ее в источник сострадания и помощи другим слабым существам. Александр Дворкин сделал иной выбор. Вместо того чтобы оплакать свою детскую беспомощность, признать свою боль и пойти по

пути исцеления и прощения, он предпочел идентифицироваться с агрессором. Он сделал осознанный выбор в пользу умножения боли, превратив свои уязвленные эго-структуры в карающий инструмент, а личную психопатологию — в социально одобряемую репрессивную деятельность.

Трагедия в яме, гибель маленького Яши и последующие десятилетия преследования инакомыслящих были не неизбежным следствием его тяжелого детства, а результатом последовательного отказа от собственной эмпатии в пользу иллюзии всемогущества. Психобиографический анализ его личности служит не оправданием его деяний через призму перенесенных страданий, а строгим научным и философским предупреждением о том, что невылеченная душевная рана, помноженная на трусливый отказ от моральной ответственности и свободы воли, способна породить изощренное, социально адаптированное зло, стремящееся превратить весь мир в темную, холодную яму. По мере взросления эта внутренняя основа усложняется, приобретая черты дезорганизованной привязанности. Этот наиболее тяжелый паттерн формируется тогда, когда фигура опекуна, которая биологически обязана служить безопасной гаванью, одновременно воспринимается как источник угрозы или невыносимого психологического давления. Возникает неразрешимый парадокс: ребенок стремится к близости, чтобы выжить, но сама эта близость разрушает его хрупкое «Я». В этой точке психика расщепляется, а в пространстве межличностных взаимодействий зарождается динамика Драматического треугольника Стивена Карпмана.

Промежуточный урок этой истории, соединяющей в себе прозрения Джона Боулби, Мэри Эйнсворт, Стивена Карпмана и других, заключается в том, что внешние битвы, которые мы ведем на арене политики, религии или социальных реформ, почти всегда являются отголосками наших самых ранних, довербальных войн за выживание в колыбели. До тех пор пока мы не осознаем структуру своих внутренних рабочих моделей, до тех пор пока не оплачем свою отверженность и не откажемся от манипулятивных ролей Драматического треугольника, мы обречены строить тюрьмы безопасности для себя и окружающих, принимая их за храмы спасения. Подлинное исцеление начинается не с обретения догматической правоты и не с победы над очередным внешним врагом, а с мужества заглянуть под маску невозмутимости и

встретиться лицом к лицу с тем испуганным, покинутым ребенком, который все еще ждет своего безопасного возвращения домой.

Глава 4. Соматическая интеграция Драматического треугольника и преодоление деструктивных сценариев

Драматический треугольник Карпмана традиционно рассматривается в рамках транзактного анализа и когнитивной психотерапии как ментальная схема межличностных манипуляций. Однако за каждым психологическим решением, за каждой привычной транзакцией Жертвы, Преследователя или Спасателя стоит фундаментальный нейробиологический процесс. Психика не совершает выбора в изоляции от физиологии, она лишь постфактум рационализирует и облекает в вербальные формулировки те импульсы, которые вегетативная нервная система сгенерировала на доли секунды раньше. Как подчеркивал выдающийся исследователь психотравматологии Бессель ван дер Колк, травматический опыт и деструктивные поведенческие сценарии запечатлеваются в глубоких структурах организма, минуя вербальные центры коры больших полушарий. Попытка разрешить динамику Драматического треугольника исключительно на когнитивном уровне — значит игнорировать тот соматический фундамент, на котором эта динамика базируется. Каждая из трех ролей представляет собой не просто набор убеждений, а специфическое, жестко детерминированное состояние вегетативной нервной системы, определяющее тонус мускулатуры, паттерны дыхания, гормональный профиль и висцеральную чувствительность.

Обращаясь к поливагальной теории Стивена Порджеса, мы можем перевести язык психологических ролей на точный язык нейрофизиологии. Нервная система человека непрерывно осуществляет процесс нейроцепции — бессознательного сканирования внутренней и внешней среды на предмет безопасности, угрозы или смертельной опасности. Этот процесс происходит вне когнитивного контроля, опираясь на эволюционно древние механизмы выживания. Когда нейроцепция фиксирует угрозу, вегетативная нервная система мгновенно перестраивает свою работу, отключая систему социального взаимодействия, за которую отвечает миелинизированная вентральная ветвь блуждающего нерва. В этот момент запускаются архаичные оборонительные программы, которые и находят свое внешнее выражение в ролях Драматического треугольника. Каждая из этих ролей является телесной стратегией адаптации к небезопасной среде, закрепившейся в индивидуальном опыте или унаследованной от семейной системы.

Соматический профиль Жертвы является классической иллюстрацией дорсо-вагального коллапса, описанного Стивеном Порджесом как древнейшая реакция на серьезную опасность. Когда нервная система оценивает угрозу как непреодолимую, а возможности для активного сопротивления или бегства истощенными, происходит резкое подавление активности вентрального вагуса и доминирующим становится немиелинизированный дорсальный блуждающий нерв. На физиологическом уровне это запускает процесс иммобилизации, характеризующийся резким падением мышечного тонуса, снижением артериального давления и замедлением сердечного ритма. Человек в состоянии Жертвы переживает глубокий соматический коллапс, выражающийся в ощущении непреодолимой тяжести в конечностях, хронической слабости и мышечной гипотонии. Его дыхание становится поверхностным, апертурным и едва заметным, поскольку диафрагма спазмируется и фиксируется, ограничивая объем вдоха и приводя к системной гипоксии тканей. Лицо такого человека теряет мимическую подвижность, превращаясь в маску застывшего страдания или апатии, что напрямую связано с угасанием активности черепно-мозговых нервов, регулирующих мимику и социальный контакт. Этот вегетативный застой блокирует доступ к моторной коре, делая любые активные действия физиологически невозможными, из-за чего жалобы, пассивность и

соматизированная боль становятся единственными доступными способами коммуникации Жертвы с внешним миром.

Совершенно иную вегетативную конструкцию демонстрирует роль Преследователя, которая целиком базируется на симпатической мобилизации. Это состояние ярости, борьбы и доминирования, направленное на преодоление угрозы через уничтожение или подавление источника опасности. В этом режиме надпочечники выбрасывают в кровеносную систему колоссальные объемы кортизола, адреналина и норадреналина, переводя организм в состояние экстремального физиологического напряжения. Сердечный ритм резко учащается, кровь перераспределяется, отливая от органов пищеварения и кожи к крупным скелетным мышцам, подготавливая тело к немедленному удару или броску. Хронический Преследователь живет в состоянии перманентного гипертонуса и мышечного панциря, структура которого детально соотносится с концепцией телесных блоков Вильгельма Райха. Основными зонами фиксации здесь становятся челюстной, горловой и грудной сегменты. Жевательные мышцы Преследователя сжаты до предела, выражая подавленный импульс к укусу или крику гнева. Трапециевидные и ромбовидные мышцы находятся в постоянном напряжении, приподнимая плечи для защиты шеи, а грудная клетка фиксируется в фазе глубокого вдоха, что призвано транслировать силу и превосходство, но одновременно ограничивает вариабельность сердечного ритма. Взгляд Преследователя характеризуется туннельным зрением, вызванным симпатическим расширением зрачков и блокировкой периферического восприятия, что лишает его способности видеть контекст ситуации и переживать эмпатию.

Роль Спасателя представляет собой наиболее сложную, смешанную вегетативную репрезентацию, в которой переплетаются импульсы симпатической мобилизации и искаженное функционирование системы социального взаимодействия. Спасатель демонстрирует поведение, известное в современной травматотерапии как реакция угодничества или подчинения. На первый взгляд, Спасатель ориентирован на контакт, эмпатию и помощь, что имитирует активность вентрального вагуса. Однако под этой внешней маской доброжелательности скрывается глубокое вегетативное напряжение, порожденное страхом отвержения и экзистенциальной небезопасностью.

Нервная система Спасателя находится в режиме гипербдительности, непрерывно сканируя микровыражения лиц окружающих людей для предотвращения возможного конфликта. Соматически это проявляется в характерном мышечном зажиме в области шеи и плечевого пояса: Спасатель буквально несет на себе чужую ношу, что приводит к хроническому перенапряжению трапецевидных мышц и формированию триггерных зон в шейно-грудном переходе. Дыхание Спасателя остается зажатым в верхних отделах легких, не опускаясь в живот, что поддерживает постоянный высокий уровень тревоги и приводит к синдрому хронической усталости из-за истощения резервов вегетативной адаптации.

Понимание того, как человек оказывается вовлеченным в динамику Драматического треугольника, существенно расширяется благодаря гипотезе соматических маркеров, сформулированной выдающимся нейробиологом Антонио Дамасио. Его исследования показали, что в процессе жизнедеятельности мозг непрерывно фиксирует связь между внешними событиями и внутренними физиологическими состояниями организма. Вентромедиальная префронтальная кора и миндалевидное тело создают своего рода картографию висцеральных реакций, формируя соматические маркеры — мгновенные изменения в частоте сердечных сокращений, мышечном тонусе, перистальтике кишечника и гормональном фоне, которые ассоциируются с прошлым опытом успеха или угрозы.

Когда человек сталкивается с триггерной ситуацией в общении, его нервная система через механизм неосознанной оценки угрозы, которую в поливагальной теории называют нейроцепцией, может мгновенно активировать соматический маркер еще до того, как информация будет полностью осмыслена сознательно. Если в прошлом опыте ребенка выживание зависело от подавления собственного гнева и принятия вины, то при малейшем изменении интонации партнера в настоящем у него может запускаться реакция замирания или подчинения: падение тонуса, сжатие в области солнечного сплетения, ком в горле. Мозг считывает эти висцеральные сигналы как объективную реальность, сообщающую о неминуемой опасности, и автоматически запускает поведенческий паттерн Жертвы. Человек начинает жаловаться, подчиняться или диссоциировать, искренне веря, что его реакция обусловлена текущим

поведением партнера, хотя на самом деле он стал заложником активированного телесного маркера. Таким же образом Преследователь может реагировать на малейшую уязвимость другого человека мгновенным симпатическим напряжением в челюсти и груди, считывая чужую слабость как угрозу собственной безопасности, что заставляет его атаковать для упреждения удара. Тело помнит травматические сценарии и защищается доступными ему способами, превращая Драматический треугольник в последовательность психофизиологических автоматизмов.

Освобождение от деструктивных сценариев Драматического треугольника трудно осуществить посредством одних лишь ментальных усилий. Глубокая терапевтическая работа требует последовательного соматического переобучения, направленного на деактивацию болезненных соматических маркеров и перевод вегетативной нервной системы в режим большей безопасности, который в поливагальной модели связывают с вентрально-вагальным состоянием. Этот терапевтический процесс строится на постепенной работе с мышечным панцирем и восстановлении интероцептивной осознанности. Для вывода организма из состояния замирания, оцепенения или сниженного тонуса, характерного для роли Жертвы, терапия должна быть направлена на мягкое возвращение жизненной энергии и преодоление оцепенения.

Процесс начинается с восстановления глубокого сенсорного контакта с физической опорой. Практика заземления позволяет нервной системе почувствовать стабильность и безопасность через рецепторы стоп и седалищных бугров, посылая в головной мозг сигналы о наличии надежной поддержки. Постепенная вегетативная мобилизация осуществляется через работу с дыханием, где акцент может смещаться на мягкое углубление дыхания, естественный вдох и спокойный удлиненный выдох, что деликатно поддерживает регуляцию без запуска панической реакции. Важнейшим инструментом является деблокирование диафрагмы с помощью низкочастотных голосовых вибраций: протяжное интонирование звуков на выдохе позволяет снизить мышечное напряжение, поддержать дыхательную регуляцию и усилить ощущение телесного присутствия, возвращая телу ощущение тепла и наполненности.

Терапевтическое освобождение от панциря Преследователя требует безопасного разряда избыточного симпатического возбуждения и перестройки моторных программ агрессии. Вместо подавления импульса борьбы, которое лишь усугубляет мышечные зажимы по Вильгельму Райху, соматическая терапия предлагает метод контролируемого завершения двигательной реакции. Через изометрическое напряжение крупных мышечных групп плечевого пояса и рук с последующим глубоким, осознанным расслаблением может происходить разрядка заблокированного адреналинового ресурса. Снятие челюстного зажима достигается путем мягкого мануального релиза жевательных мышц в сочетании с микродвижениями нижней челюсти и расслаблением корня языка, что может уменьшать общий уровень телесного напряжения и сигналов угрозы. Не менее важным шагом является интеграция практик расширения зрительного поля: переход от узкого, фиксированного взгляда Преследователя к панорамному, периферическому зрению может помочь снижать уровень мобилизации и возвращать мозг к более спокойному присутствию.

Для Спасателя ключевым вектором исцеления становится восстановление соматических границ и преодоление созависимого слияния. Так как Спасатель постоянно проецирует свое внимание вовне, терапия возвращает его к собственной телесной оси. Работа с кожными покровами как с первичной границей эго через самомассаж, простукивание и контрастные температурные воздействия позволяет Спасателю физически прочувствовать контуры собственного тела. Практика соматического отталкивания, выполняемая через медленное, осознанное упирание ладонями в стену с сильным выдохом, помогает на мышечном уровне пережить опыт установления барьера и защиты личного пространства. Это позволяет Спасателю прекратить обслуживание чужих эмоциональных процессов и вернуться к осознанию собственных висцеральных потребностей, центрируясь на линии позвоночника и расслабляя горловой сегмент мышечного панциря.

Исторический путь осмысления созависимости в психологической науке и практике долгое время развивался под эгидой классической медицинской модели. Зародившись в недрах аддиктологии и реабилитационных программ для членов семей с химической зависимостью, концепт созависимости

изначально нес на себе бремя нозологического редукционизма. В рамках традиционного дефицитарного подхода созависимость нередко описывалась языком хронического семейного паттерна, личностного дефицита или почти неизлечимой зависимости от чужих состояний. Подобная парадигма, безусловно, сыграла свою важную историческую роль, позволив официально утвердить страдания близких зависимых людей и предоставив им первичные ориентиры для самоидентификации. Однако долгосрочные терапевтические эффекты такого подхода обнаружили существенные ограничения.

Внушая клиенту мысль о том, что его личностная структура необратимо повреждена, а сам он является носителем вечной болезни, терапия консервирует дефицитарное самовосприятие. Вместо обретения подлинной свободы субъект переходит из одной системы ограничений в другую, где ярлык созависимого становится центральным элементом его идентичности, оправдывающим выученную беспомощность. По итогу терапевтический процесс сводится к бесконечной компенсации дефектов, контролю симптомов и удержанию жестких оборонительных границ, что существенно сужает горизонт личностного развития.

Современная психологическая мысль в ряде направлений движется от дефицитарной модели к ресурсной парадигме раскрытия человеческого потенциала. В центре этого движения лежит понимание того, что созависимые шаблоны представляют собой не врожденную патологию или дефект характера, а сверхадаптивные, некогда жизнеспасающие творческие приспособления психики к неблагоприятным, часто травматическим условиям среды. Эти паттерны формировались как отчаянная попытка сохранить связь со значимыми фигурами и обеспечить безопасность в условиях дестабилизированной семейной ячейки. Когда семья находится в состоянии постоянного кризиса, ребенок вынужден жертвовать собственной аутентичностью ради сохранения привязанности. Таким образом, то, что в зрелом возрасте выглядит как созависимое поведение, изначально было адаптивным актом выживания детской психики.

Новый взгляд рассматривает созависимость не как статичный диагноз, а как динамический процесс временной утраты личной автономии. Целью терапии в рамках этой парадигмы становится не просто ремиссия или научение

механизмам совладания, а глубокая личностная трансформация, актуализация самодетерминации и интеграция вытесненных ресурсов. Переход к раскрытию потенциала опирается на принципы позитивной психотерапии, гуманистической психологии и концепции посттравматического роста. Психотерапевтическое вмешательство смещает фокус с вопроса о том, что с клиентом не так, на исследование того, какими уникальными ресурсами жизнестойкости он обладает и как эти адаптивные механизмы могут быть реорганизованы для созидания наполненной, автономной жизни. Этот эволюционный сдвиг требует принципиально иного инструментария. Он переопределяет характер терапевтических отношений и структуру взаимодействия клиента с миром. На смену жестким детерминистическим схемам приходят гибкие, развивающие модели, способные трансформировать деструктивную межличностную динамику в созидательную энергию личностного роста.

В качестве одной из наглядных и практически применимых альтернатив деструктивным интеракциям выступает концепция Динамики расширения возможностей, разработанная Дэвидом Эмеральдом. Данная модель создавалась как прямое эволюционное противоядие от классического Драматического треугольника Стивена Карпмана, детально описывающего ловушки созависимого поведения. Модель Эмеральда предлагает конструктивный выход из этого деструктивного цикла через обретение личной силы. Для понимания глубины этой трансформации необходимо обратиться к разработанной Эмеральдом концептуальной триаде, описывающей взаимосвязь фокуса внимания, внутреннего состояния и результирующего поведения субъекта.

В рамках Драматического треугольника индивид функционирует в реактивном режиме. Его фокус внимания жестко зафиксирован на проблемах, угрозах, дефицитах и внешних препятствиях. Подобная ментальная фиксация неизбежно порождает негативное внутреннее состояние, доминирующими эмоциями в котором становятся страх, тревога, гнев и бессилие. Из этого деструктивного эмоционального фона закономерно вытекает реактивное, защитное или манипулятивное поведение, направленное на немедленное снижение тревоги, а не на долгосрочное разрешение ситуации. Происходит

постоянная циркуляция деструктивной психической энергии. Жертва ищет Спасателя, чтобы переложить ответственность, но неизбежно сталкивается с Преследователем, который подтверждает ее худшие опасения о собственной никчемности. Спасатель, стремясь облегчить собственную экзистенциальную тревогу, лишает Жертву возможности развития, превращаясь со временем в Преследователя из-за растущей усталости и неоправданных ожиданий. Преследователь, проецируя свою внутреннюю уязвимость на Жертву, пытается удержать контроль, но сам оказывается в заложниках у собственного гнева и изоляции. Динамика расширения возможностей предлагает радикальную реорганизацию этой внутренней структуры.

Первостепенным шагом здесь выступает смещение фокуса внимания с проблемы на желаемый результат и созидательные возможности. Этот когнитивный сдвиг кардинально меняет внутреннее состояние субъекта, трансформируя страх в творческую страсть, вдохновение и устремленность к росту. Вслед за изменением внутреннего состояния реконструируется и поведенческий пласт: вместо защитных реакций индивид начинает осуществлять проактивные, осознанные и целенаправленные действия.

Философия этой модели, получившей название TED (The Empowerment Dynamic), базируется на глубоком уважении к человеческой автономии и способности к самоопределению. Переход от Драматического треугольника к Динамике расширения возможностей представляет собой не просто замену поведенческих привычек, а глубокую экзистенциальную и когнитивную перестройку. Каждая из трех деструктивных ролей Карпмана претерпевает качественную метаморфозу, превращаясь в свою созидательную противоположность, что позволяет полностью пересобрать систему межличностных коммуникаций клиента. Вместо циклического движения по замкнутому кругу созависимости субъект вступает на путь линейного и спиралевидного развития. В этой новой динамике фокус внимания направлен не на избегание того, чего человек боится, а на создание того, что для него по-настоящему ценно. Это меняет саму структуру мотивации: мотивация «от» — избегание боли, проблем и преследований — уступает место мотивации «к» — созиданию ценностей, укреплению связей и развитию потенциала.

Центральной осью созависимой динамики в треугольнике Карпмана является роль Жертвы. Находясь в этой позиции, человек воспринимает себя как объект воздействия внешних сил, обстоятельств или действий других людей. Трансформация Жертвы в Творца знаменует собой глубочайший бытийный сдвиг. Творец — это субъект, который осознает свою способность к выбору и способность осуществлять сознательный выбор даже в условиях жестких ограничений. Ключевое различие между этими позициями заключается в направлении фокуса внимания. Творец спрашивает себя не о том, кто виноват и за что ему эти страдания, а о том, какой результат он хочет создать в сложившихся обстоятельствах.

Соматическое перерождение Жертвы в Творца находит свое отражение в постепенном изменении телесной организации и ощущения опоры. Этот процесс начинается с естественного выпрямления позвоночника и мягкого раскрытия плечевого пояса, что помогает восстановить полноценный объем дыхания. Клиент переходит к более глубокому диафрагмальному дыханию, которое может поддерживать регуляцию вегетативной нервной системы и насыщает ткани кислородом. При этом восстанавливается прочный, заземленный контакт стоп с поверхностью пола, возвращающий человеку ощущение устойчивости и физической опоры. Взгляд Творца становится сфокусированным, ясным и дружелюбным, открытым для равноправного диалога, а голос приобретает свободное, звучное звучание, резонирующее в груди и отражающее глубокую внутреннюю конгруэнтность. Чтобы осуществить этот глубокий переход, клиенту необходимо последовательно пройти через несколько ключевых терапевтических фаз. Начальная фаза связана с принятием радикальной ответственности за собственную жизнь, что требует отказа от укоренившейся иллюзии, будто внешние объекты обязаны обеспечивать эмоциональный комфорт. Вторым важным этапом становится развитие способности осознанно выбирать ответную реакцию, когда между внешним стимулом и действием создается зазор осознанности, позволяющий выйти из автоматических реакций. Далее следует сдвиг ментального фокуса с дефицита на возможности, благодаря чему любые жизненные трудности и кризисы переосмысляются как ценное сырье для личностного роста и творческого самоопределения.

И, наконец, завершающий этап предполагает переход от пассивного ожидания спасения к совершению последовательных практических микрошагов в направлении самостоятельно выбранных ценностных ориентиров. В этом процессе неоценимую помощь оказывают направленные терапевтические вопросы, которые клиент может задавать себе в моменты кризиса для трансформации внутреннего сценария. Полезно регулярно спрашивать себя о том, какой именно результат я хочу создать в этой ситуации, невзирая на существующие ограничения. Другим важным ориентиром становится вопрос о том, в чем проявляется моя личная сила прямо сейчас и как я могу использовать ее для совершения первого конкретного шага. Также терапевтически ценно размышлять над тем, чему учит меня эта сложная ситуация, какой ресурс я могу в ней обнаружить и какую меру ответственности за свои чувства и действия я готов взять на себя в данный момент. В клиническом контексте интеграция роли Творца позволяет клиенту вернуть себе право на авторство собственной жизни. Человек перестает быть реактивной щепкой в бушующем океане семейной дисфункции и обретает прочную внутреннюю опору, основанную на признании собственной ценности и творческого потенциала.

Роль Преследователя в традиционной Драматической триаде подпитывается стремлением к контролю, защите собственных уязвимых зон через агрессию и проецированием внутреннего хаоса на внешние объекты. Эволюционный переход от Преследователя к Бросающему вызов, или Челленджеру, представляет собой трансформацию разрушительной агрессии в чистую, направленную силу личностного и межличностного роста. Бросающий вызов не стремится уничтожить, унижить или подчинить другого человека. Его глубинной интенцией является пробуждение потенциала партнера по взаимодействию через столкновение его с правдой и призыв к ответственности.

Телесная интеграция роли Бросающего вызов характеризуется выражением силы без насилия и экологичным присутствием в контакте. Это проявляется в прямой, но полностью лишенной избыточного напряжения осанке и способности сохранять комфортную, уважительную дистанцию с партнером. Жестикаляция становится открытой, движения рук — спокойными и контролируемыми, причем ладони часто обращены вверх или раскрыты

навстречу собеседнику. Дыхание Бросающего вызов остается ровным и глубоким, способствуя удержанию хладнокровия и ясности мышления в острые моменты. Его взгляд характеризуется как прямой, твердый, но при этом теплый и уважительный, абсолютно свободный от желания уничтожить или подавить другого, а голос звучит уверенно, четко и веско в среднем регистре громкости. Данная трансформация опирается на принципиально иную этическую и психологическую основу, характеристики которой включают в себя несколько ключевых аспектов. Прежде всего, происходит полный отказ от личных обвинений в пользу предоставления прямой, честной и безоценочной обратной связи, при которой критическому анализу подвергаются исключительно конкретные деструктивные поведенческие моменты, но не личность партнера в целом. Следующей характеристикой является способность выдерживать высокое напряжение конфликта и устанавливать ясные, здоровые границы без необходимости эмоционально наказывать, преследовать или отвергать собеседника. Кроме того, фокус внимания смещается на развитие другого человека, где Бросающий вызов выступает в качестве честного зеркала, помогающего увидеть слепые зоны, деструктивные иллюзии и неиспользуемые внутренние ресурсы.

Наконец, взаимодействие строится из позиции уважения к силе другого, основанной на глубокой вере в то, что партнер способен самостоятельно справиться со своими жизненными сложностями и не нуждается в деструктивной жалости или потворствовании его слабостям. Для перехода от разрушительного преследования к развивающему вызову клиенту предлагается использовать терапевтические вопросы, помогающие исследовать мотивацию своих действий. Полезно задавать себе вопросы о том, какую именно истину мне необходимо сейчас озвучить и как я могу сделать это с искренним уважением к достоинству другого человека. Важно также исследовать, какую свою уязвимость или потаенный страх я пытаюсь защитить, когда автоматически перехожу к нападению и тотальному контролю. Развивающими ориентирами становятся размышления о том, к какому росту и развитию я призываю своего партнера, бросая ему этот вызов, и как я могу максимально ясно обозначить свои личные границы, полностью отказавшись от манипуляций, унижающей критики и наказаний. Бросающий вызов вносит в терапевтическое пространство и реальную жизнь клиента необходимый элемент структуры, ясности и здорового

напряжения. Он катализирует изменения, заставляя пересматривать устаревшие контракты взаимодействия, стимулируя как собственную автономию, так и автономию окружающих.

Пожалуй, наиболее коварной и терапевтически резистентной ролью в созависимых динамиках является роль Спасателя. Внешне альтруистичное, просоциальное и жертвенное поведение Спасателя на поверку оказывается тонким механизмом инвалидизации окружающих и укрепления собственной значимости. Преобразование Спасателя в Наставника, или Тренера, кардинально меняет вектор помогающего поведения. Наставник — это тот, кто видит перед собой не немощную жертву, требующую спасения, а Творца, обладающего всеми необходимыми ресурсами для разрешения собственных жизненных задач. Наставник не берет на себя чужую ответственность и не предлагает готовых решений, которые ослабляют автономию другого.

Телесная позиция Наставника транслирует устойчивость, присутствие и уважение к границам. Она характеризуется центрированным положением тела и умением сохранять собственную вертикальную ось, сидя с прямой, но при этом расслабленной спиной. Жестикуляция становится свободной и неторопливой, а открытые ладони выражают теплое приглашение к равноправному диалогу. Спокойное, ровное дыхание всей грудью и животом создает вокруг Наставника атмосферу безопасности и стабильности. Его взгляд описывается как внимательный и принимающий, способный спокойно выдерживать паузы и молчание собеседника без суетливого стремления заполнить пустоту словами, а ясный, теплый и уверенный голос звучит из глубокого регистра, поддерживая глубокое самоисследование партнера.

Вместо готовых рецептов Наставник выстраивает взаимодействие на основе принципов фасилитации и развивающего присутствия, что выражается через несколько фундаментальных проявлений. Во-первых, осуществляется переход от директивных советов к искусству задавания сильных, продвигающих вопросов, помогающих человеку самостоятельно прояснить свое видение ситуации и обнаружить скрытые ресурсы. Во-вторых, применяется активное эмпатическое и безоценочное слушание, направленное на валидацию чувств и сильных сторон собеседника, а не на поиск его дефектов. В-третьих, строго соблюдается граница ответственности, при которой Наставник отвечает

исключительно за качество процесса поддержки и присутствия, но оставляет полную ответственность за выборы, действия и результаты самому человеку. И, в-четвертых, поддерживается глубокая вера в жизнеспособность и мудрость другого, подкрепляемая сознательным отказом от искушения вмешаться и исправить ситуацию в моменты кризиса, позволяя партнеру пройти сквозь необходимый опыт совладания и роста.

Для глубокой саморефлексии и трансформации Спасателю необходимы внутренние вопросы, помогающие переосмыслить мотивы своей помощи. Полезно спрашивать себя о том, какую экзистенциальную задачу собственной жизни я пытаюсь избежать, так активно спасая другого человека. Важно честно размышлять, верю ли я искренне в способность этого человека самостоятельно справиться со своими трудностями. Развивающими стимулами становятся вопросы о том, каким сильным вопросом я могу поддержать его самопознание вместо того, чтобы в очередной раз дать готовый совет, и где конкретно заканчивается моя зона ответственности в этих отношениях и как я могу бережно вернуть другому его собственную ответственность. Наставничество как терапевтическая и жизненная позиция разрушает ядро созависимого симбиоза. Оно возвращает каждому участнику взаимодействия его собственную силу, создавая пространство для подлинной встречи двух автономных, уважающих друг друга субъектов.

Для того чтобы трансформация ролей Драматического треугольника в роли Динамики расширения возможностей носила устойчивый характер, необходим надежный клинический фундамент. В современной терапевтической практике концепция Дэвида Эмеральда может интегрироваться с депатологизирующими подходами, создавая полезную рамку для проработки созависимых паттернов на когнитивном, эмоциональном, системном и глубинно-психологическом уровнях. Одним из наиболее глубоких альянсов является интеграция модели Динамики расширения возможностей с моделью Internal Family Systems, или IFS-терапией, Ричарда Шварца.

В терминах IFS-терапии деструктивные роли Карпмана, представленные Жертвой, Преследователем и Спасателем, могут рассматриваться как поляризованные, перегруженные защитные части личностной системы

клиента, относящиеся к категориям Менеджеров и Пожарных. Первостепенно в этом контексте выступает то, что часть, выполняющая роль Спасателя, функционирует как классический Менеджер, чья цель состоит в контроле внешней среды и опеке окружающих ради недопущения прорыва боли израненных, изгнанных частей, называемых Изгнанниками или Экзилиями. Спасательство в данном случае становится защитным экраном, оберегающим систему от соприкосновения с невыносимым чувством одиночества и отвержения.

В то же время часть, пребывающая в роли Преследователя, может быть понята как жесткий защитник — Менеджер или Пожарный, в зависимости от того, действует ли она заранее или импульсивно реагирует на прорыв боли, использующий критику, гнев и агрессию для предотвращения повторной травматизации системы, пытаясь напасть первой и тем самым избежать боли поражения. Сама же роль Жертвы часто связана с Изгнанниками — застрявшими в травматическом прошлом детскими частями, которые несут на себе тяжелое бремя никчемности, одиночества, стыда и тотального бессилия. Терапевтический синтез IFS и Динамики расширения возможностей происходит в момент обращения к концепту Селф — нашему истинному Я, обладающему качествами ясности, сострадания, спокойствия, уверенности и творчества, причем это Селф-лидерство может быть сопоставлено с позицией Творца.

В процессе терапии клиент из пространства Селф устанавливает сострадательный контакт со своими защитными частями, помогая Спасателю расслабиться и трансформироваться в Наставника, направляющего внутренние ресурсы на исцеление и самоподдержку, а не на контроль окружающих. Преследователь, освободившись от бремени страха и необходимости постоянной обороны, преобразуется в Бросающего вызов, становясь внутренним источником здоровой агрессии, ясности, воли и защиты личностных границ. Изгнанные части освобождаются от бремени травмы через процесс, который в IFS описывается как «разгрузка» или освобождение от бремени, и интегрируются в систему как источники спонтанности, радости, аутентичности и творческой энергии, принося в жизнь клиента спонтанность, радость, аутентичность и творческую энергию.

Параллельно с внутриличностной интеграцией терапевтический процесс требует развития когнитивно-поведенческой гибкости, что эффективно достигается через введение концептов Терапии принятия и ответственности, известной как АСТ, Стивена Хайеса. Созависимость в рамках АСТ интерпретируется как результат когнитивного слияния с деструктивными правилами и избегания неприятных внутренних переживаний, таких как страх отвержения или тревога одиночества. Интеграция АСТ в процесс трансформации ролей осуществляется через последовательное освоение ключевых процессов психологической гибкости. Первым процессом выступает разделение, или когнитивное расцепление, с жесткими ментальными схемами и историями о себе как о бессильной жертве или обязанном всех спасти родителе, когда клиент учится наблюдать за своими мыслями, не отождествляясь с ними. Второй процесс заключается в принятии нежелательных чувств и телесных ощущений вместо попыток немедленно купировать их через созависимое спасательство, что позволяет выдерживать сильную тревогу при выборе новых шаблонов поведения.

Третьим процессом является постоянный контакт с настоящим моментом посредством практик осознанности, возвращающий фокус внимания из тревожных фантазий в текущую реальность, где только и возможен выбор позиции Творца. Четвертым процессом становится контакт с Я как контекстом, позволяющий человеку наблюдать свои роли и переживания, не сводя себя к ним. Пятым процессом становится прояснение ценностей, выступающее компасом для Творца и определяющее глубокие смыслы его существования. И, наконец, шестой процесс реализуется в виде проактивных действий, когда клиент совершает конкретные, пускай даже небольшие шаги в сторону желаемых результатов, воплощая роли Творца, Наставника и Бросающего вызов в повседневной реальности.

Трансформация индивидуальных паттернов должна быть поддержана изменениями в более широком контексте, что обеспечивается привлечением Системного семейного подхода, в частности теории систем Мюррея Боуэна. С точки зрения Боуэна, треугольники возникают, когда напряжение в двусторонних отношениях втягивает третьего участника или внешнюю проблему для стабилизации системы. Созависимость процветает в системах с

низким уровнем дифференциации Я членов семьи, где границы размыты, а эмоциональное слияние препятствует индивидуальному развитию. Интеграция Динамики расширения возможностей с системной семейной терапией позволяет использовать роли TED как инструменты детриангуляции и повышения уровня дифференциации. Клиент, осваивающий роль Творца, начинает выходить из эмоционального слияния с семейной системой, принимая ответственность за собственные эмоциональные состояния и прекращая проецировать свои дефициты на партнеров.

Переход к позиции Бросающего вызов позволяет открыто и прямо заявлять о своих ценностях, желаниях и границах внутри семьи, не прибегая к манипуляциям, скрытым союзам, сплетням и триангуляциям. В то же время позиция Наставника в семейном взаимодействии надежно блокирует автоматические процессы спасательства, позволяя другим членам системы также повышать свой уровень дифференциации, сталкиваясь с последствиями собственных выборов и обучаясь самостоятельности. Таким образом, на стыке этих подходов рождается комплексная, многомерная терапевтическая практика. Она позволяет не просто купировать симптомы созависимости, а совершить качественный скачок в развитии всей личностной и семейной системы, переводя деструктивное напряжение в ресурсную энергию созидания и аутентичного бытия.

Перевод теоретических конструктов Динамики расширения возможностей в плоскость повседневной жизнедеятельности требует от клиента прохождения глубокого процесса изменения ума — «метанойи», а также выработки специфических практических навыков. Трансформация созависимых динамик не происходит мгновенно; она представляет собой последовательный процесс переобучения нервной системы и перестройки поведенческих стратегий. Первым шагом на этом пути является развитие соматической и когнитивной осознанности, позволяющей осуществлять постоянный мониторинг текущего состояния. Клиент обучается замечать телесные маркеры вхождения в Драматический треугольник, о которых подробно говорилось выше. Заметив эти проявления, клиент совершает то, что в рамках Динамики расширения возможностей можно назвать осознанной паузой. Это мгновение осознанной остановки, в котором разрывается автоматическая цепь стимула и реакции. В

этот момент происходит сознательное переключение внимания с реактивного импульса на созидательный выбор. Клиент делает глубокий вдох, заземляется, возвращается в свое тело и задает себе трансформирующие вопросы, специфичные для каждой роли. Используются вопросы самоопределения, помогающие понять, какой результат хочется создать прямо сейчас, каковы реальные возможности в этой ситуации и какой маленький шаг можно сделать в направлении желаемого изменения, что перенаправляет фокус внимания с проблемы на агентность.

Важнейшим практическим аспектом интеграции Динамики расширения возможностей в повседневную жизнь является концепция микрошагов, активно используемая и описываемая Дэвидом Эмеральдом. Творец не ждет идеальных условий для совершения глобальных изменений, а начинает действовать там, где находится, используя те ресурсы, которыми располагает в данный момент.

Микрошаги обладают важными терапевтическими свойствами, которые необходимо рассмотреть для понимания их эффективности. Прежде всего, они позволяют обходить естественное сопротивление психики и защитные механизмы миндалевидного тела, которое воспринимает резкие изменения как угрозу безопасности и стремится заблокировать их. Далее, совершение микрошагов существенно снижает уровень тревоги, неизбежно возникающий при разрушении привычных созависимых паттернов взаимодействия. Кроме того, они делают процесс изменений видимым, осязаемым и измеримым для самого клиента, что поддерживает его долгосрочную мотивацию. Каждый успешно сделанный микрошаг укрепляет веру клиента в собственную эффективность, постепенно перестраивая его внутренний образ себя из дефицитарного в ресурсный.

В повседневной практике концепция микрошагов реализуется через простые, но регулярные действия, плавно интегрируемые в рутину. Для Творца это может выражаться в ежедневном пятиминутном планировании своих целей или в выделении времени на собственное хобби. Для Бросающего вызов микрошагом становится тренировка в произнесении вежливого, но твердого отказа без последующего чувства вины. Для Наставника микрошаг может заключаться в практике молчания в течение одной минуты, когда близкий человек начинает рассказывать о своих проблемах, прежде чем предложить

какую-либо помощь. Интеграция современных терапевтических моделей, переводящих фокус с лечения патологии на раскрытие потенциала, совершает важный сдвиг в практике преодоления созависимости.

Вместо пожизненной борьбы с болезнью и компенсации вечных дефектов человек получает доступ к источнику жизненного творчества. Он учится выстраивать глубокие, поддерживающие, дифференцированные отношения, в которых близость не угрожает автономии, а границы служат не стенами отчуждения, а мостами для подлинной встречи. Происходит переход от выживания к созиданию, от реактивного приспособления к осознанному авторству собственной судьбы, где каждый кризис становится приглашением к расширению возможностей, а каждый вызов — катализатором раскрытия человеческого потенциала.

Глава 5. Выход из исторического сценария

В феномене антикультизма роли Жертвы, Преследователя и Спасателя выходят далеко за рамки индивидуальных отношений, превращаясь в инструмент государственной политики, медийного давления и социального ostracism, где под маской защиты человеческого достоинства разворачивается кампания по подавлению ментальной свободы. Процесс разворачивания этой макросоциальной драмы всегда инициируется из позиции Спасателя. В этой роли выступают антикультистские организации, ангажированные медиаресурсы и традиционалистские институты, провозглашающие своей целью спасение граждан от влияния деструктивных групп. Спасатель берет на себя монополию на знание истины и заботу о психологическом благополучии общества. Как только Жертва — автономный индивид — заявляет о том, что она не нуждается в спасении, полностью отдает себе отчет в своих действиях,

реализует свое право на свободу совести и мысли и требует уважения к своей ментальной автономии, Спасатель мгновенно сбрасывает маску благодетеля.

Формирование национальной идентичности вокруг роли Коллективной Жертвы происходит тогда, когда в основу исторического нарратива закладывается не опыт преодоления, суверенизации и творческого созидания, а эксклюзивный опыт перенесенного насилия, угнетения и несправедливости со стороны внешних сил. Этот образ порождает специфическую макросоциальную психопатологию, характеризующуюся несколькими устойчивыми проявлениями. Коллективный Спасатель представляет собой компенсаторную макросоциальную роль, возникающую как реакция на глубоко вытесненное чувство национальной уязвимости, исторического поражения или неполноценности.

Неспособная обустроить свое внутреннее пространство, нация проецирует вовне образ могучего, всеблаготворного избавителя, наделенного уникальной исторической миссией. Среди ключевых признаков этой роли выделяется прежде всего идеология мессианства и особого пути, в рамках которой нация провозглашает себя единственным носителем подлинных ценностей, будь то чистая вера, истинная демократия, уникальная духовность или социальный прогресс, полагая, что остальное человечество пребывает во тьме и нуждается в немедленном вызволении.

Также имеет место компенсаторная грандиозность, при которой происходит замещение реальных достижений фантазиями о мировом спасении. Государство направляет гигантские ресурсы на финансирование внешнеполитических авантур, поддержку лояльных режимов и экспорт спасения, в то время как базовая инфраструктура внутри страны, система здравоохранения и уровень жизни граждан находятся в состоянии хронического упадка. Наконец, этот паттерн ведет к систематическому нарушению чужих границ под маской альтруизма. Спасатель априори не признает суверенитет и субъектность других наций, относясь к ним как к незрелым детям, не способным самостоятельно определить вектор своего развития. Вторжение на чужую территорию или навязывание своей политической модели оправдываются священным долгом спасения и необходимостью принести цивилизацию или свободу даже вопреки сопротивлению принимающей стороны.

Роль Коллективного Преследователя активируется тогда, когда вытесненный страх повторения прошлой травмы соединяется с авторитарным стилем государственного управления. Преследователь действует из глубокого убеждения, что лучший способ избежать виктимизации — это упреждающее насилие. Главным выражением этой роли становится доктрина агрессивной обороны, в соответствии с которой любые акты внешней экспансии, аннексии территорий или военного давления интерпретируются внутри нации исключительно как превентивные оборонительные меры, продиктованные враждебностью внешнего мира.

Параллельно запускается перманентный поиск внутреннего и внешнего врага для поддержания высокого уровня мобилизации общества и сохранения авторитарной структуры власти, из-за чего всякая внутренняя оппозиция или проявление свободного мышления клеймится как пятая колонна и агенты внешних разрушителей. Вся эта динамика увенчивается садистической триумфализацией, при которой национальная гордость полностью подменяется культом физической силы, демонстрацией военного превосходства и способностью внушать страх окружающим народам по принципу доминирования силы.

Преодоление многоуровневого влияния индивидуальных соматических маркеров, трансгенерационного транса и макросоциального давления антикультистского расщепления требует от человека постоянного и глубокого терапевтического процесса. Этот путь направлен на демонтаж деструктивных ролевых паттернов и обретение подлинной ментальной и телесной автономии, позволяющей выйти из роли заложника родовой и социальной истории.

Методологической основой для работы на когнитивно-поведенческом уровне выступает концепция трансактного анализа Эрика Берна, в частности процесс деконтаминации эго-состояния Взрослого. Деконтаминация представляет собой процедуру очищения Взрослого от деструктивных родительских интроектов — навязанных мифов, верований предков и страхов, блокирующих свободное мышление, а также от архаичных детских сценариев и решений, принятых в состоянии вегетативного коллапса или симпатического испуга. Взрослый должен быть восстановлен в своих правах как главная инстанция тестирования реальности, способная анализировать факты,

выносить суждения независимо от давления коллективного поля и выдерживать тревогу сепарации от родительской связи. Индивиду необходимо признать, что деление мира на абсолютное добро внутри семейного клана и абсолютное зло за его пределами является инфантильным защитным механизмом, препятствующим взрослению.

Интеграция автономии требует мужества выдерживать амбивалентность реальности, признавая, что любая социальная ячейка, включая его собственную семью или общество, сочетает в себе как поддерживающие, так и ограничивающие свойства. Это позволяет отказаться от проективной идентификации — перестать видеть во внешнем мире исключительно преследователей или спасателей и вернуть себе ответственность за собственные выборы, ошибки и духовные поиски. Через глубокую телесную осознанность, регулярную практику заземления, центрирования и развитие способности переносить сильные эмоции без впадения в дорсо-вагальный коллапс или симпатическую ярость, человек обучает свою нервную систему новому опыту — опыту безопасности в настоящем моменте.

Когда вегетативная нервная система переходит под управление вентрального вагуса, унаследованная от предков программа перманентной тревоги и ожидания катастрофы теряет свою силу. Нейроцепция начинает адекватно оценивать реальность, понимая, что в текущий момент времени телу ничего не угрожает, и воспроизведение защитных ролей Драматического треугольника больше не требуется для выживания. В этот момент прерывается трансгенерационная передача травмы: человек перестает быть биологическим транслятором чужого горя и боли, обретая право писать свой собственный жизненный сценарий, основанный на свободе мысли, соматической устойчивости и подлинном присутствии в своей жизни.

Исторический путь нации представляет собой не просто последовательность внешних событий — войн, революций, технологических укладов и смены политических режимов. В своей глубинной основе это феноменологическое развертывание коллективного бессознательного, в котором неизжитые травмы, вытесненный стыд и неоплаканные утраты прошлых поколений выступают в качестве скрытых детерминант актуального

политического выбора и социальных паттернов. Наиболее репрезентативным историческим прецедентом интеграции Теневой истории и преодоления деструктивного национального сценария является послевоенная Германия. Ее опыт перехода от тоталитарной психопатологии к зрелой демократической культуре через сложный процесс преодоления или проработки прошлого, служит моделью для политической психологии и социальной философии. Этот сложный путь представляет собой многоступенчатую динамику, которая берет начало от глубокого краха и переживания коллективной травмы, проходит через стадию активации мощных защитных механизмов, преодолевает описанный психоаналитиками меланхолический паралич и неспособность скорбеть, а затем устремляется к интеграции Теневой истории посредством культуры памяти и дифференциации вины, что в конечном счете открывает возможность перехода к подлинной гражданской ответственности.

В 1967 году немецкие психоаналитики Александр и Маргарете Мичерлих опубликовали знаковую работу «Неспособность скорбеть: Принципы коллективного поведения», предложившую глубокий психоаналитический диагноз немецкому обществу первых послевоенных десятилетий. Авторы исследовали поразительный социально-психологический парадокс: после безоговорочной капитуляции Третьего рейха, сопровождавшейся абсолютным физическим разрушением городов, гибелью миллионов граждан и обнажением беспрецедентных преступлений Холокоста, в немецком социуме практически отсутствовали признаки массового траура, депрессии или глубокого раскаяния. Вместо этого наблюдались эмоциональная ригидность, апатия, крайняя степень бесчувственности по отношению к жертвам нацизма и одновременно — колоссальная, компульсивная продуктивность, направленная на экономическое восстановление страны, вошедшее в историю как экономическое чудо. Мичерлихи объяснили этот феномен через классическую фрейдовскую концепцию утраты объекта и динамику формирования Сверх-Я.

Немецкое общество осуществило массовое инвестирование психической энергии в фигуру Адольфа Гитлера. Фюрер был интроецирован миллионами людей в качестве коллективного идеала Я. Путем этой проекции граждане делегировали лидеру функции своей личной совести и морального суждения. Гитлер олицетворял собой грандиозное, непогрешимое «Я» нации, избавляя

каждого отдельного индивида от бремени собственного выбора и личной ответственности.

Крах национал-социализма и самоубийство фюрера привели не просто к военно-политическому поражению, но к мгновенной девальвации и разрушению этого коллективного идеала «Я». В соответствии с закономерностями, описанными Зигмундом Фрейдом в работе «Печаль и меланхолия», утрата столь значимого, нарциссически заряженного объекта должна была неизбежно повергнуть немецкую психику в глубочайшую меланхолию, сопровождающуюся самообвинениями, потерей самоуважения и психотическим распадом. Чтобы защитить эго от этой невыносимой душевной боли и избежать признания собственной причастности к катастрофе, немецкое общество бессознательно мобилизовало систему мощных психологических защит, заблокировавших процесс естественного оплакивания.

Психическое выживание немецкого населения в послевоенный период обеспечивалось функционированием скоординированной системы защитных регистров, которые действовали синергетически и последовательно блокировали травматическую реальность. Первым среди них можно выделить коллективное вытеснение, выражающееся в герметичном вычеркивании из сознательной памяти индивидуального опыта активной поддержки преступного режима. В рамках этого механизма двенадцать лет диктатуры стали трактоваться как исторический несчастный случай или временное помрачение разума, лишенное органической связи с глубинным характером нации. Следующим регистром выступало прямое отрицание, проявлявшееся в полном неприятии неопровержимых фактов совершения преступлений, когда на ранних этапах первые сведения о лагерях смерти воспринимались обывателями как сфабрикованная пропаганда союзников, направленная на моральное подавление побежденного народа. Далее важным элементом стала дереализация вместе с эмоциональным оцепенением. Данная психическая анестезия, при которой окружающая действительность и страдания других людей воспринимались как ненастоящие и лишённые чувственной окраски, позволяла полностью блокировать эмпатию к выжившим жертвам нацизма.

Еще один механизм основывался на проекции и расщеплении коллективного образа лидера и нации, когда вся полнота зла проецировалась на

узкую клику нацистских функционеров, трактовавшихся как демонические гипнотизеры, в то время как сам народ позиционировался исключительно как невинный, обманутый и насильственно подчиненный объект их злой воли. Еще одним защитным барьером стал заговор молчания, представляющий собой межпоколенческое табуирование травматического опыта внутри семьи, при котором домашнее пространство функционировало как зона жесткой цензуры, а отцы сознательно умалчивали о деталях своей службы на Восточном фронте, создавая в семейной нарративной структуре глубокие лакуны. Наконец, завершающим регистром выступала вторичная виктимизация, выразившаяся в фиксации общества исключительно на собственных страданиях от бомбардировок союзников, депортации из восточных регионов, ужасов плена и послевоенного голода, что использовалось в качестве психологического щита против признания вины за страдания, причиненные другим народам.

Преодоление психологического и экзистенциального тупика, вызванного неспособностью скорбеть, требовало деконструкции парализующего концепта коллективной вины, который навязывал обществу чувство обреченности и вызывал лишь защитную агрессию. Решающий вклад в этот процесс внес немецкий философ Карл Ясперс. В своем курсе лекций 1946 года «Вопрос о виновности» он произвел тончайшую феноменологическую дифференциацию понятия вины, разделив его на четыре категории.

Первой категорией выступает уголовная вина, под которой понимается конкретное, формально зафиксированное нарушение законов государства и международного права. Ее инстанцией являются исключительно судебные инстанции, а сам процесс носит строго индивидуальный характер, что наглядно продемонстрировал Нюрнбергский трибунал.

Второй категорией является политическая вина, отражающая ответственность граждан за действия государства, членом которого они являются, чьими благами пользуются и чьему порядку подчиняются. Эта вина разрешается в плоскости политической реальности и выражается в несении коллективных последствий поражения, выплате репараций и изменении государственного устройства.

Третьей категорией выступает моральная вина, затрагивающая личную ответственность индивида за свои действия и бездействие, конформизм,

молчаливое соучастие или сделки со своей совестью. Инстанцией суда здесь является исключительно индивидуальная совесть, а разрешается этот конфликт через внутреннее покаяние, самоанализ и изменение ценностных ориентиров человека.

Четвертой и самой глубокой категорией признается метафизическая вина, проистекающая из нарушения глубинной солидарности между людьми, когда индивид оказывается неспособным предотвратить преступление против ближнего или выживает там, где гибли другие. Эта вина подлежит лишь суду Бога или Абсолюта и трансформирует саму структуру человеческого бытия. Разделение вины на эти категории позволило немецкому обществу уйти от деструктивного обобщения и занять субъектную позицию. Политическая вина признавалась коллективной, поскольку все граждане несут ответственность за последствия преступлений своего государства, в то время как моральная и уголовная вины оставались строго индивидуализированными.

Выход нации из заколдованного круга треугольника Карпмана и преодоление деструктивного исторического сценария требуют процесса, методологически идентичного глубокой индивидуальной психотерапии и семейной системной терапии по Мюррею Боуэну — процесса национальной дифференциации. Дифференциация нации — это способность общества сохранять свою идентичность, опираясь на внутренние ценности, разум и созидательную субъектность, не впадая в эмоциональное слияние с другими государствами через союзы, основанные на зависимости, не проецируя свою Тень вовне и не нуждаясь в образах внешних врагов для консолидации.

Контраст между деструктивным сценарием слияния и здоровой национальной дифференциацией отчетливо виден по нескольким ключевым осям. В отношении границ деструктивный сценарий характеризуется их размытостью и зыбкостью, выражаясь в постоянных попытках поглощения соседей под лозунгом бесконечности империи, тогда как дифференцированное состояние опирается на жесткие, суверенные и неприкосновенные границы с четким пониманием пределов собственной юрисдикции и уважением чужого суверенитета.

В сфере внешней политики слияние диктует мессианство, импорт ценностей, попытки силового навязывания своей воли или виктимные

требования компенсаций, в то время как дифференциация утверждает прагматизм, основанный на международном праве, паритетных договорах, экономическом интересе и взаимной выгоде. Отношение к инаковости при деструктивном сценарии проявляется как яростное неприятие чужого выбора и восприятие автономии соседа как угрозы или предательства, в то время как здоровая дифференциация базируется на толерантности к своеобразию других культур и признании за другими нациями права жить в соответствии с их собственным выбором. Интеграция общества в деструктивном режиме держится на поиске общего врага, культе побед, страхе перед наказанием или внешним агрессором, тогда как дифференцированная нация сплачивается вокруг общих ценностей свободы, законности, уважения к человеку и совместного созидательного проекта будущего.

Преодоление деструктивного исторического сценария и осуществление национальной дифференциации представляют собой не просто теоретические конструкты социальной философии, а выступают в качестве возможного психологического фундамента для построения зрелого гражданского общества и стабильных демократических институтов.

Демократия — это не формальный набор электоральных процедур и конституционных деклараций. Это прежде всего определенный уровень психической зрелости граждан, характеризующийся высоким уровнем личной ответственности, способностью к критическому осмыслению реальности, развитым эмпатическим регистром и толерантностью к когнитивному диссонансу и неопределенности. Структура зрелого гражданского общества опирается на дифференцированного гражданина, обладающего личной автономией и ответственностью. На внутреннем уровне это проявляется в глубоком уважении к закону, рациональном диалоге и последовательном развитии институтов, а на внешнем уровне — в устойчивом иммунитете к популизму, отказе от поиска врагов и готовности к мирному партнерству. Это сбалансированное взаимодействие образует устойчивый демократический фундамент и является залогом счастливого будущего всей планеты.

Источники

1. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. N. (1978). Patterns of attachment: A psychological study
2. American Psychological Association, Board of Social and Ethical Responsibility for Psychology. (1987, May 11). Memorandum: Final report of the Task Force on Deceptive and Indirect Methods of Persuasion and Control (DIMPAC). CESNUR. <https://www.cesnur.org/testi/APA.htm>
3. Barker, E. (1984). The making of a Moonie: Choice or brainwashing? B. Blackwell. <https://archive.org/details/makingofmoonie003738>
4. Berne, E. (1964). Games people play: The psychology of human relationships. Grove Press. <https://archive.org/details/GamesPeoplePlay>
5. Beyer, T. Writers. In Russians in America: The Third Wave. <https://community.middlebury.edu/~beyer/ratw/writers.htm>
6. Bicchieri, C., & Muldoon, R. (2011). Social norms. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved May 27, 2026, from <https://plato.stanford.edu/entries/social-norms/>
7. Birmingham, B. The man in the bubble. Scribd. <https://ru.scribd.com/document/678043007/Brian-Birmingham-The-Man-in-the-Bubble>
8. Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Jason Aronson. https://books.google.com/books/about/Family_Therapy_in_Clinical_Practice.html?id=oPshK8iokZIC
9. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books. <https://archive.org/details/attachmentloss01bowl>
10. Cambridge College. Alumni. <https://www.cambridgecollege.edu/alumni>
11. Choy, A. (1990). The winner's triangle. Transactional Analysis Journal, 20(1), 40–46. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1177/036215379002000105>
12. Damasio, A. R. (1994). Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain. Putnam. <https://archive.org/details/descarteserroroodama>

13. Emerald, D. (2015). The power of TED (The empowerment dynamic)* (10th anniversary ed.). Polaris Publishing. <https://powerofted.com/the-power-of-ted-book/>
14. Frankl, V. E. (1969). Man's search for meaning: An introduction to logotherapy. Beacon Press. <https://archive.org/details/manssearchformeaoofran>
15. FECRIS. European Federation of Centres of Research and Information on Cults and Sects. <https://www.fecris.org/>
16. Freedom of Mind Resource Center. Frequently asked questions (FAQ). <https://freedomofmind.com/resource-links/frequently-asked-questions-faq/>
17. Freud, S. (1917). Mourning and melancholia. In The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 14, pp. 237–258). Hogarth Press. <https://archive.org/details/mourningmelanchooofreu>
18. Harlow, H. F. (1958). The nature of love. *American Psychologist*, 13(12), 673–685. <https://psychology.widener.edu/wp-content/uploads/2015/03/harlow1958.pdf>
19. Hayes, S. C., & Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications. <https://www.stevenchayes.com/books/>
20. Introvigne, M. (2026, March 9). The truth, please, about Steven Hassan. 3. Is he really an «expert»? Bitter Winter. <https://bitterwinter.org/the-truth-please-about-steven-hassan-3-is-he-really-an-expert/>
21. International Cultic Studies Association. International Cultic Studies Association. <https://www.icsahome.com/>
22. Jaspers, K. (2000). The question of German guilt (E. B. Ashton, Trans.; J. W. Koterski, Intro.). Fordham University Press. Original work published 1946. <https://archive.org/details/questionofgermanoojasp>
23. Karpman, S. B. (1968). Fairy tales and script drama analysis. *Transactional Analysis Bulletin*, 7(26), 39–43. <https://karpmandramatriangle.com/pdf/DramaTriangle.pdf>
24. Karpman, S. B. (2014). A game free life: The new transactional analysis of intimacy, openness, and happiness. Drama Triangle Publications. <https://karpmandramatriangle.com/>

25. Levine, P. A., & Frederick, A. (1997). *Waking the tiger: Healing trauma*. North Atlantic Books. <https://www.traumahealing.org/>
26. Łobaczewski, A. M. (2006). *Political ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes*. Red Pill Press.
https://openlibrary.org/books/OL26343527M/Political_Ponerology
27. Lorenz, K. (1952). *King Solomon's ring: New light on animal ways*. Thomas Y. Crowell.
28. Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In M. W. Yogman & T. B. Brazelton (Eds.), *Affective development in infancy* (pp. 95–124). Ablex.
29. Massachusetts Board of Registration of Allied Mental Health and Human Services Professions. Board of Registration of Allied Mental Health and Human Services Professions. Mass.gov. <https://www.mass.gov/orgs/board-of-registration-of-allied-mental-health-and-human-services-professions>
30. Mitscherlich, A., & Mitscherlich, M. (1975). *The inability to mourn: Principles of collective behavior* (B. Placzek, Trans.). Grove Press. Original work published 1967.
<https://archive.org/details/inabilitytomournoomits>
31. Myznikov, A., Korotkov, A., Zheltyakova, M., Kiselev, V., Masharipov, R., Bursov, K., Yagmurov, O., Votinov, M., Cherednichenko, D., Didur, M., & Kireev, M. (2024). Dark triad personality traits are associated with decreased grey matter volumes in «social brain» structures. *Frontiers in Psychology*, 14, Article 1326946.
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1326946/full>
32. Ogden, P., & Fisher, J. (2015). *Sensorimotor psychotherapy: Interventions for trauma and attachment*. W. W. Norton. <https://sensorimotorpsychotherapy.org/>
33. Parlato, F. (2026, February 2). *The Steven Hassan files: Part I: Nine women regretted a wellness program — Now their case could redefine coercion for 330 million Americans*. Frank Report. <https://frankreport.com/2026/02/02/the-steven-hassan-files-part-i/>

34. Part C: Toxicology & Pharmacology, 148(4), 401–410.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S153204560800032X?via%3Dihub>
35. Porges, S. W. (2011). *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation*. W. W. Norton.
<https://www.stephenporges.com/books>
36. Psychology Today. Empathy.
<https://www.psychologytoday.com/us/basics/empathy>
37. Ranbom, S. (1982, November 3). The shadowy empires that beckon the young. *Education Week*. <https://www.edweek.org/education/the-shadowy-empires-that-beckon-the-young/1982/11>
38. Reich, W. (1972). *Character analysis* (V. R. Carfagno, Trans.). Farrar, Straus and Giroux. <https://archive.org/details/characteranalysis0000reic>
39. Religioscope. (2003, January 19). From deprogramming to strategic interaction: Interview with Steven Alan Hassan. <https://english.religion.info/2003/01/19/from-deprogramming-to-strategic-interaction-interview-with-steven-alan-hassan/>
40. Robbins, T. (2000). “Quo vadis” the scientific study of new religious movements? *Journal for the Scientific Study of Religion*, 39(4), 515–523.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5906.2000.tb00013.x>
41. Rosenberg, L. (n.d.). Lina Rosenberg — Aunt. In *Reflections*. Retrieved May 27, 2026, from <http://bar-yam.org/aureet/Reflections/Relatives/linaRosenberg.html>
42. Saner, E. (2012, September 3). I was a Moonie cult leader. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/world/2012/sep/03/moonie-cult-leader>
43. Schwartz, R. C., & Sweezy, M. (2019). *Internal family systems therapy* (2nd ed.). Guilford Press. <https://ifs-institute.com/resources/item/internal-family-systems-therapy-richard-c-schwartz-and-martha-sweezy>
44. Shupe, A. D., & Darnell, S. E. (2024, June 13). CAN: Anti-cultists, deprogramming, and crime. 1. The Waterloo of the Cult Awareness Network. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/can-anti-cultists-deprogramming-and-crime-1-the-waterloo-of-the-cult-awareness-network/>

45. Shupe, A. D., & Darnell, S. E. (2024, June 25). CAN: Anti-cultists, deprogramming, and crime. 7. Sexual abuse as a deprogramming tool. Bitter Winter. <https://bitterwinter.org/can-anti-cultists-deprogramming-and-crime-7-sexual-abuse-as-a-deprogramming-tool/>
46. Spitz, R. A. (1945). Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. *The Psychoanalytic Study of the Child*, 1(1), 53–74. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00797308.1945.11823126>
47. STAND League. Steven Hassan. <https://www.standleague.org/hate-monitor/exposed/steven-hassan.html>
48. Stierwalt, S. (2018, July 11). Why do smells trigger memories? *Scientific American*. <https://www.scientificamerican.com/article/why-do-smells-trigger-memories1/>
49. *United States v. Fishman*, 743 F. Supp. 713 (N.D. Cal. 1990). <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/743/713/2593631/>
50. van der Kolk, B. A. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking. <https://www.besselvanderkolk.com/resources/the-body-keeps-the-score>
51. Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158–177. <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0074428>
52. Wikipedia. Судебный процесс над «Бхагавад-гитой как она есть». In Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/wiki/Судебный_процесс_над_«Бхагавад-гитой_как_она_есть»
53. Wikipedia. QAnon. In Wikipedia. <https://ru.wikipedia.org/wiki/QAnon>
54. Wright, S. A. (2009). Reframing religious violence after 9/11: Analysis of the ACM campaign to exploit the threat of terrorism. *Nova Religio*, 12(4), 5–27. <https://online.ucpress.edu/nr/article-abstract/12/4/5/70176/Reframing-Religious-Violence-after-9-11-Analysis?redirectedFrom=fulltext>
55. Young, K. A., Gobrogge, K. L., Liu, Y., & Wang, Z. (2008). The neurobiology of social attachment: A comparative approach to behavioral, neuroanatomical, and neurochemical studies. *Comparative Biochemistry and Physiology*

56. Голубев, С. (2018, 13 июня). Герой веры из посольства Иисуса. Как «пакет Яровой» сделал из зимбабвийской протестантки злостную нарушительницу КоАП. Медиазона. <https://zona.media/article/2018/06/13/kudzay>
57. Дворкин, А. Л. (2002). Сектоведение. Тоталитарные секты: Опыт систематического исследования. Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского.
58. Дворкин, А. Л. (2013). Моя Америка: Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами. Христианская библиотека.